

А. Х. ГОРФУНКЕЛЬ

Бостон, Гарвард

МОЯ ШКОЛА, МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ... ЧАСТЬ 4

Итак, оставалась моя работа в университетской библиотеке. Сперва шесть, потом пять дней в неделю. С 1963 г. по 1976 г. я был один, затем удалось добиться новой ставки, и я попросил И. Х. Черняка пригласить Н. И. Николаева (он работал лаборантом на кафедре латинского языка в Первом медицинском институте). С этого времени и до моего перехода в Публичную библиотеку (1984 г.) мы работали вдвоем с Николаем Ивановичем. Я его знал со студенческих лет. В нашей библиотеке в 1968 г. он служил экспедитором и оставил по себе самую добрую память. Однако только в ходе наших совместных занятий я понял (почувствовал), каким важным окажется его присутствие — и для отдела, и для меня.

О комплектовании фонда редких книг и об их описаниях в каталогах было сказано в предыдущих частях моих воспоминаний. Но о некоторых приобретениях стоит рассказать отдельно. Один коллекционер принес к нам в библиотеку Ефремовское издание сочинений А. Н. Радищева (1872 г.) — оно не столь редко, как первое издание «Путешествия», но в свое время было запрещено цензурой. Владелец книги был вынужден с ней расстаться — о нем появилась какая-то публикация в ленинградских газетах, не помню, в чем его уличали. Библиотека заплатила за нее по тем временам значительную цену. С коллекционером был у меня занятый разговор. Он просил принять его в Отдел редких книг. Я объяснил ему, что не сомневаюсь в его личной честности, не думаю, что он станет воровать книги. Дело в другом: если он увидит в магазине интересующее его издание, у него появится соблазн приобрести его для себя, а не для Отдела; поэтому для коллекционеров доступ в штат Отдела редких книг был заказан. У меня тоже были старые книги, я передал их в библиотеку, оставив у себя только две, необходимые для постоянной работы (венетское издание Данте 1568 г. и Лионскую Библию 1521 г.). Перед отъездом в США «Божественную комедию» я продал на аукционе, а Библию подарил в Отдел редких книг Российской национальной (Публичной) библиотеки (экземпляр Петербургского университета был описан в «Каталоге палеотипов»).

Ленинградские букинисты хорошо меня знали, они помнили моего отца, заведующего научной книгой в книгоиздательском отделе, и показывали мне самые редкие издания, которые хранили в особой комнате и продавали только серьезным собирателям и библиотекам. Я приобрел у них несколько инкунабулов, а также римское издание Андреа Фульвио 1517 г., «Изображения знаменитых людей» (изящный томик в восьмую долю листа,

Александр Хаимович Горфункель, доктор философских наук, профессор Гарвардского университета (США). Сфера научных интересов — история русской культуры XVII–XX вв., история итальянского Возрождения. Автор ряда монографий по истории итальянского Возрождения. E-mail: gorfunkel@yahoo.com.

с гравюрами) и «Книгу маркизы» («Le Livre de la Marquise», 1918) — сборник, который составил и иллюстрировал К. А. Сомов (первый, менее фривольный вариант).

Любопытно, что в те времена я не встречал у букинистов книг кириллической печати — то ли им было запрещено их покупать, то ли их и не приносили. Так что редкие русские церковные книги XVI–XVIII вв. мы в основном получали во время археографических экспедиций и в качестве дара от собирателей.

После поступления в Отдел редких книг и рукописей Н. И. Николаев заинтересовался книгой М. В. Ломоносова «Первые основания металлургии, или рудных дел», вышедшей в издании Академии наук в Петербурге в 1763 г. На титульном листе была



А. Х. Горфункель
в Отделе редких книг и рукописей
Научной библиотеки
Ленинградского университета

надпись: «Петру Жукову подарена автором». Петр Федорович Жуков (1730–1782) был образованным и полезным чиновником, управлял Банком для вымена государственных ассигнаций, служил в Коллегии иностранных дел, был воеводой в Коломне, потом стал председателем Санкт-Петербургского губернского магистрата. Занявшись изучением его книжного собрания, Николай Иванович обнаружил материалы в архивах Москвы и Ленинграда, в том числе и описи книг Учительской семинарии, куда Екатерина II в 1783 г. передала приобретенную у П. Ф. Жукова библиотеку, которая включала 585 названий рукописей и книг на русском и иностранных языках: работы по истории и географии России и других стран, издания классиков древности в оригинале или во французских и русских переводах, труды философов Нового времени, сочинения ученых, словари по разным отраслям знания. Художественная литература в ней была представлена произведениями А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова, Мольера, Шекспира. П. Ф. Жуков был знаком не только с М. В. Ломоносовым, но и с историком и путешественником Г. Ф. Миллером, поэтом И. Ф. Богдановичем.

С учетом последующих преобразований Учительской семинарии в Главный Педагогический институт, а затем в Петербургский университет, собрание П. Ф. Жукова легло в основу университетской библиотеки.

Вдвоем мы составили каталог собрания П. Ф. Жукова. Николай Иванович был автором вступительной статьи и описаний русских книг и рукописей, на мою долю пришлось описание иностранных книг. Это был последний каталог Научной библиотеки Ленинградского университета в пору моих там служебных занятий¹.

Одновременно Н. И. Николаев начал публикацию неизданных работ литературоведа Л. В. Пумпянского (1891–1940), чья глубокая внутренняя связь с философом

¹ Начало университетской библиотеки (1783 г.): Собрание П. Ф. Жукова — памятник русской культуры XVIII века. Сост. А. Х. Горфункель, Н. И. Николаев. Л.: Изд-во Лен. гос. ун-та, 1980.

М. М. Бахтиным продолжалась долгие годы. В этих занятиях Николая Ивановича поддерживала вдова ученого и хранитель его архива проф. Евгения Марковна Иссерлин (1906–2004). Николай Иванович встречался с М. М. Бахтиным, с дочерью философа М. И. Кагана Ю. М. Каган. Позднее результаты этой работы были опубликованы.¹

Между тем изучение фондов университетской библиотеки продолжалось. В основу моей работы было положено (постоянно меняющееся) представление о том, какие книги являются редкими и подлежат хранению в нашем отделе. Таким образом, в «Вестнике» ЛГУ появились сообщения об отдельных коллекциях. В 1964 г. в издании «Библиотеки СССР. Опыт работы» была напечатана статья «О профиле комплектования фонда редких книг университетской библиотеки». Две заметки были помещены в журнале «В мире книг» в 1965 г.: одна, вместе с А. М. Панченко, о «Книге постнической» Василия Великого (Кесарийского) в списке 1482 г., найденной археографами в 1963 г., вторая — о находке фрагментов «Краковского миссала» 1484 г. в переплетах двух словарей И. И. Гофмана, изданных в Базеле в 1679 и 1680 гг. В 1976 г. там же было напечатано мое выступление «Индивидуальность собрания» при обсуждении принципов работы над вторым изданием «Сводного каталога русской нелегальной и запрещенной печати XIX века». Мне приходилось делать доклады на научных конференциях университетской библиотеки: в 1965–1969 гг. Они отражали мое знакомство с фондами, их использование в научной и учебной работе, истории собрания редких книг и описания отдельных коллекций. В 1967 г. в «Ломоносовских чтениях» МГУ была помещена информация о «Библиотеке Цензуры иностранной». В «Тихомировских чтениях» 1970 г. — сообщение «Об археографической работе Научной библиотеки ЛГУ». После начала экспедиций и издания каталога кириллических книг к нам присоединились Московский, Уральский и Новосибирский университеты. Студенты-археографы ЛГУ были направлены в областные библиотеки и там занялись поиском рукописей и редких книг.

После выхода в свет моего «Каталога инкунабулов» появились описания небольших собраний инкунабулов в Саратове и Казани, последний я редактировал, как и их каталог книг кириллической печати. Мне доводилось читать лекции и проводить занятия по археографии. В Свердловске я познакомился с Рудольфом Германовичем Пихоя, он с 1974 г. организовал археографическую работу на Урале, а затем и музей книги.

Свердловск стал, наряду с Москвой, Ленинградом и Новосибирском, важнейшим центром изучения древнерусской книжной и рукописной традиции. Когда Б. Н. Ельцин стал президентом России, Р. Г. Пихоя занял должность Главного архивиста страны.

В 1969 г. я побывал в Новосибирске, мы встретились там с Н. Н. Покровским. Он провел несколько лет в лагерях (уже в хрущевские времена, как участник подпольной аспирантской организации). После выхода на свободу его научный руководитель академик Михаил Николаевич Тихомиров передал в Новосибирск свое собрание рукописей, с условием, что их хранителем будет Н. Н. Покровский. Мы подружились с Николаем Николаевичем. Он рассказал мне о своем отце, декане Исторического факультета Ростовского университета Николае Ильиче Покровском, авторе книги о Шамиле. Несмотря на высокие отзывы И. Ю. Крачковского, Б. Д. Грекова, И. М. Дружинина, С. Н. Валка, ее в 1930-е гг. не могли издать из-за его критического отношения к политике имама, а позднее за то, что он не представлял Шамиля «английским агентом».²

¹ Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. Отв. ред. А. П. Чудаков. Сост. Е. М. Иссерлин и Н. И. Николаев. Вступ. ст., подгот. текста и примечания Н. И. Николаева. М.: Языки русской культуры, 2000.

² Покровский Н. И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М.: РОССПЭН, 2002.

Николай Николаевич пытался свести меня со своим другом Н. Я. Эйдельманом, но наши приезды в Новосибирск никак не совпадали. Позднее я познакомился с Натаном Яковлевичем в Ленинграде, стал получать его книги, что было немаловажным — «доставать» их в книжных магазинах было трудно из-за их огромного читательского успеха. Одну из книг он подарил мне в Москве, но т. к. у него в это время на руках был только один экземпляр, уже подготовленный в качестве подарка, он переписал авторскую надпись. Перед отъездом я передал книгу с двойной надписью в Отдел рукописей ГПБ.

Н. Н. Покровскому принадлежит честь, по выражению Д. С. Лихачева, «археографического открытия Сибири».¹ Среди найденных им рукописей и редких книг выделялся Сибирский список судного дела над Максимом Греком.²

В Новосибирске преподавала Нина Викторовна Ревякина, историк итальянского гуманизма, я выступал перед студентами с докладами об итальянской философии.



Владимир Иванович Малышев,
создатель Древлехранилища
Пушкинского Дома

С Н. Н. Покровским был связан забавный случай: когда он до этого услышал от Н. В. Ревякиной мое имя (как итальяниста), он удивился: «Знаете, а в Ленинграде есть еще какой-то другой Горфункель, археограф». Так я оказался в положении почти что Хлестакова.

Нельзя не отметить важную публикацию Н. Н. Покровского: воспользовавшись (как выяснилось, недолгим) открытием архивов, он сумел издать книгу об отношении коммунистического руководства к церкви, об изъятии «церковных ценностей» и о преследовании духовенства.³

О новых находках старопечатных книг я опубликовал небольшую статью в сборнике 1972 г., посвященную юбилею основателя Древлехранилища Пушкинского Дома В. И. Малышева. Подобные юбилейные сборники в те времена цензурой не допускались, поэтому прямого посвящения в книге не было.

О новых открытиях шла речь и на конференции «Вопросы собирания, учета, хранения и использования документальных памятников истории культуры» (1982 г.) в сообщении «На-

ходки археографов и дополнения к Сводному каталогу русской книги XVII в.». Их было сделано немало в археографических экспедициях. В дальнейшем значительное число книг XVIII — начала XIX в., не учтенных в библиографиях, было представлено в работах археографа младшего поколения Андрея Владимировича Вознесенского.

¹ Лихачев Д. С. Прошлое — будущему. Л.: Наука, 1985. С. 558–563; Покровский Н. Н. Путешествие за редкими книгами. М.: Наука, 1984. С. 3–7.

² Судные списки Максима Грека и Исаака Собаки. Изд. подготовил Н. Н. Покровский под ред. С. О. Шмидта. М.: Главное Архивное управление при Совете министров СССР, 1971.

³ Архивы Кремля: Политбюро и церковь. 1922–1925 гг. Сост. Н. Н. Покровский и С. Г. Петров. Кн. [1]–2. Новосибирск: Сибирский хронограф; М.: РОССПЭН, 1997–1998.



А. Х. Горфункель, Илья Хацкелевич Черняк, сотрудник музея истории религии, специалист по истории Итальянского Возрождения;
Ирина Сергеевна Зверева, сотрудник Архива Российской национальной библиотеки, издатель «Каталога античных авторов» Н. В. Варбанец и В. С. Люблинского;
Николай Иванович Николаев, зав. Отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки Санкт-Петербургского университета;
Андрей Владимирович Вознесенский, зав. Отделом редких книг Российской национальной библиотеки

Мои книговедческие занятия были напрямую связаны с исследованиями в области итальянской философии. Заметка о европейском книжном рынке в последней трети XVI в. на материале каталога Франкфуртских книжных ярмарок была напечатана в «Герценовских чтениях» в 1972 г.; я использовал ее в будущей книге «Гуманизм и натурфилософия Итальянского Возрождения». Тезисы доклада 1974 г. «О применении книговедческих методов в изучении истории философской мысли XVI–XVII вв.» были опубликованы в материалах 2-й Конференции по проблемам книговедения»; они тоже были учтены при подготовке монографий и статей.

В статье 1975 г. «Печатная и рукописная книга в Италии XVI в.» я показал, что цензурные гонения привели к возрождению рукописной книги. Издания, занесенные в «Индекс запрещенных книг», вновь переписывались от руки, другие распространялись в виде рукописей, так и не дождавшись печатного станка, либо публиковались в странах Реформации, за пределами юрисдикции Конгрегации индекса запрещенных книг.

В небольшой заметке «Основные этапы развития итальянской философии в эпоху Возрождения», первоначально изложенной в виде сообщения на конференции в 1975 г., были сформулированы мои представления, легшие в основу моей дальнейшей работы.

Круг моих интересов расширялся. В статье «Последний гуманист: судьба Аонио Палеарио» может показаться несколько странным название: слишком часто это определение («последний») применялось к разным деятелям культуры. Может быть, его несколько смягчает слово «гуманист». Герой этой заметки очень во многом повторял судьбу своих предшественников XV — начала XVI в. Как Петрарка, он изменил свое

имя (Антонио делла Палья), своим детям он давал греческие имена, писал почти исключительно на латыни, в традиционных жанрах (стихи, поэма, речи, послания) воспевал превосходство своей эпохи над Средневековьем, пользовался покровительством просвещенных кардиналов. И «последним» он оказался в эпохе Контрреформации. Его выступления в защиту «достаточности» Христовой жертвы и о «широте» Царства Божия независимо от конфессиональных различий привели к нескольким процессам и гибели в 1570 г., а его гуманизм перешел в историю еретического свободомыслия. Римляне откликнулись на его смерть пасквинадой: «Как бы страшась зимы холодной / Пий [Пий V] христиан сжигает как дрова: / Привыкнуть хочет к жару преисподней». И тут мне помог мой «книжный» опыт: в Отдел редких книг библиотеки ЛГУ поступило издание «Декреталий» (Венеция, 1572 г.), в нем сохранились антипапские пометы читателя и его владельческая запись: «Ascanii Palearii». Т. к. фамилия Палеарий — искусственная, то вполне может быть, что это был сын Аонио Палеария, у которого, помимо греческого имени, было данное при крещении итальянское: Асканий.

Совершенно иным оказался персонаж моей другой статьи: «Пьетро Аретино и Виттория Колонна». Изучая переписку Виттории Колонны, я обратил внимание на письма Пьетро Аретино и в особенности на присылаемые им книги. Это были вполне благочестивые сочинения, выпущенные в 1534–1535 гг., «Страсти Христовы», «Книга о человеческой жизни Иисуса Христа», переложения семи покаянных псалмов; позднее он издает переложения «Книги Бытия», «Жизнеописания» девы Марии, Св. Екатерины, Фомы Аквинского. Они не вызывали сомнения у его верующей корреспондентки, но в своих посланиях она пыталась уговорить Аретино отказаться от произведений, как она осторожно выражается, «менее угодных Богу». В новых письмах он объясняет свое поведение тем, что служит «чужому сластолюбию» и ссылается на знакомого, который отправил свой перевод Библии королю, именуя себя «христианнейшим», и не получил даже ответа, а малопрстойная «Комедия о придворных нравах» Аретино «стяжала мне золотую цепь». Аретино, разумеется, не был богословом, но не был он и еретиком. В своих сочинениях он передает чувственно воспринимаемую картину мира и этим напоминают религиозную живопись Высокого Возрождения. Я попытался опровергнуть часто встречаемую в литературе легенду о том, что Микельанджело в своем «Страшном суде» изобразил Св. Варфоломея, который держит в руках содранную с него кожу с лицом, в котором усматривают автопортрет художника. Между тем Св. Варфоломей с орудием пытки (ножом) соседствует с фигурой Св. Лаврентия, который тоже предьявляет Христу решетку как свидетельство своего мучения. Обе эти фигуры вознесены к высшей славе, по соседству с апостолами Павлом и Петром. Если бы Микельанджело хотел изобразить врага, то это был бы не почитаемый святой, и, как Данте, он нашел бы ему место в аду.

На конференции в Эрмитаже «Рафаэль и его эпоха» (1983 г.) я выступил с докладом о «Диспуте» — одной из фресок в «Stanze della Segnatura» (позднее опубликован в виде статьи), продолжив прежнее исследование «От «Торжества Фомы» к «Афинской школе»: Философские проблемы культуры Возрождения». Название фрески появилось поздно, в путеводителе по Риму 1777 г. Крайне трудно, за исключением тех персонажей фрески, которые определяются по несомненному портретному сходству, по надписям на нимбах и по определенным атрибутам, отождествить представленные на фреске фигуры. «Диспут» — не спор о причастии, а гуманистический диалог, как сказано в надписи над фреской «Извещение о делах божественных». Истина здесь не постигается, а нисходит свыше. Но вместе с тем она совпадает с изречением в «Исповеди» Блаженного Августина: «Там именно вступишь ты в прение с нами, дабы различали мы между

умопостигаемым и чувственным, как между днем и ночью» (Augustinus. Confessiones, XIII, XVIII, 22).¹

«Афинская школа» представила гуманистическое понимание философии. В «Парнасе» нам явлена гуманистическая трактовка поэзии; над фреской была помещена надпись: «Вдохновляется божеством» и представлены поэты классической древности, в том числе и Данте: («И стал шестым среди столького ума», Ад, IV, 102). Согласно учению гуманистов, поэзия не только божественна по своему происхождению, она сама является высокой теологией.

Тем более значительно появление в «Диспуте» среди богословов и философов фигуры Данте и Савонаролы (в эти годы пытались добиться реабилитации мятежного флорентийского пророка). Характерно, что в выполненной в 1552 г. гравюре Гизи, под влиянием «Индекса запрещенных книг» и контрреформационных течений в католической церкви, было устранено это портретное сходство.

В начале 1980-х гг. мне предложили отредактировать перевод книги Х. Херманна «Савонарола: Еретик из Сан-Марко». Я мог лишь внести некоторую стилистическую правку в работу переводчиков, несомненно лучше меня знавших немецкий язык (кажется, они работали в советских представительствах в Германии); но их ошибки проистекали из полного непонимания исторической обстановки в ренессансной Италии. Одну из них я хорошо запомнил: слово «Muenster» они перевели как название города в Германии; между тем оно обозначало кафедральный собор, в котором Савонарола произносил свои проповеди. Я дополнил библиографию к книге, снабдил ее некоторыми необходимыми примечаниями и включил предисловие: «Савонарола и кризис Итальянского Возрождения», в котором постарался учесть постановку проблемы «еретика из Сан-Марко» в современной научной литературе и высказать о нем собственное суждение.

Несколько неожиданной для меня оказалась другая работа. Д. С. Лихачев посоветовал вдове режиссера Г. М. Козинцева подготовить статью о его библиотеке. В. Г. Козинцева и слышать не хотела о «киноведах», и тогда Дмитрий Сергеевич порекомендовал ей меня. Мы виделись с Г. М. Козинцевым и В. Г. Козинцевой в доме М. А. Гуковского. Предложение было передано мне вдовой моего учителя. После беглого знакомства с библиотекой, меня серьезно заинтересовавшей, я поставил условие: вместе со мной этой работой должен заниматься человек, знакомый с историей кино. Валентина Георгиевна воспротивилась, но когда я представил ей моего друга Якова Леонидовича Бутовского, историка кино, исследователя кинооператорского искусства, до этого 10 лет проработавшего на «Ленфильме», их связали долгие годы сотрудничества в подготовке сочинений Г. М. Козинцева и материалов о нем. В нашей совместной с Я. Л. Бутовским статье, опубликованной в сборнике «Памятники культуры. Новые открытия, 1976», мне принадлежал общий очерк, представлявший главным образом книги по истории культуры. По понятным причинам я не упомянул в статье книгу, которую мне вскоре после нашего знакомства показала Валентина Георгиевна: это было миниатюрное, «карманное» издание «Доктора Живаго» Б. Л. Пастернака (так называемый «Тамиздат»), хранившееся в бюро на письменном столе режиссера. Я. Л. Бутовский писал о книгах по кино и театру. По непонятным причинам редактор выпустил из нашей статьи мой небольшой отрывок с общей характеристикой библиотеки как создания творца культуры. Через

¹ В новейшем русском переводе М. Е. Сергеевко значится: «Там научишь ты нас...», т. е. опущен мотив *прения* Бога с людьми: Блаженный Августин. Исповедь. Богословские труды, вып. 19. М.: 1978. С. 217; нельзя исключить и редакционное вмешательство.



Яков Леонидович Бутовский,
киновед, автор книг
о работе операторов,
издатель сочинений Г. М. Козинцева

20 лет Я. Л. Бутовский воспроизвел его в книге воспоминаний о Г. М. Козинцеве¹.

В «Федоровских чтениях» вышли две статьи; одна в 1981 г. — «Проблемы изучения зарубежной книги XVI в. и подготовка научных каталогов отдельных собраний», она опиралась на вышедший в 1977 г. «Каталог палеотипов» из собрания ЛГУ и послужила поддержкой тем библиотекарям, которые, преодолевая препятствия, чинимые безграмотным начальством, подготовили подобные каталоги своих библиотек. Во второй — «Историко-культурное значение первопечатных Библий», я отметил, на фоне европейских изданий Библии XV–XVI вв., особенности Острожской Библии Ивана Федорова: издание текста на сакральном (церковнославянском) языке, изучение рукописной традиции, с учетом греческой «альдины» 1518 г., и памятник национальной письменности на языке, сохранившем значение для литературы восточнославянских народов. В 1983 г. в журнале «В мире книг» вышла статья «Издательская программа Ивана Федорова»; мне казалось полезным показать сходство программ

двух печатников — Иоанна Гутенберга и Ивана Федорова. Оба работали над учебными книгами («Донат» Гутенберга и «Часовники» и «Азбуки» Ивана Федорова), а высшим их достижением явилось издание Библии.

Во время моей недолгой преподавательской работы в Иваново мне удалось, при поддержке заведующей кафедрой Клавдии Дмитриевны Авдеевой, издать учебную программу к прочитанному курсу «Раннее европейское книгопечатание».

Небольшие заметки были опубликованы в энциклопедическом словаре «Книговедение» в 1982 г.; известной смелости от редакции потребовалось заказать мне, а потом и напечатать статью «Индекс запрещенных книг»: упоминание о цензуре считалось недопустимым (*на воре шапка горит!*).

Несколько рецензий на каталоги редких книг были опубликованы в эти годы; о них не стоило бы и говорить, это была обычная техническая работа, связанная с моей профессиональной деятельностью, но одна заслуживает особого упоминания. Ирина Васильевна Поздеева (главный археограф Московского университета и историк раннего московского книгопечатания) подготовила научное описание коллекции известного собирателя старообрядца Михаила Ивановича Чуванова, переданной им в Библиотеку им. Ленина. Описание было подготовлено с указанием всех особенностей каждого издания, читательских и владельческих помет, характера переплета. Но оказалось, что именно это и вызвало неодобрение со стороны ряда работников Отдела редких книг. Доводы у них были слишком простые: зачем так подробно описывать книги, которые уже известны по описаниям Сводного каталога, где не учитывались особенности экземпляров. По просьбе И. В. Поздеевой и тогдашнего руководителя отдела Е. Л. Немировского я написал подробный отзыв о рукописи, где обосновал подход составителя к описанию редких книг. Потом, уже после издания каталога, он был напечатан.

¹ Бутовский Я. Л. Посвящается человеку // Ваш Григорий Козинцев: Воспоминания. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1996. С. 193.

Что касается газетных публикаций, то тут я оказался под влиянием В. И. Малышева, который считал обязанностью каждого археографа сообщать в периодической печати о работе экспедиций и о новых находках. Большая часть этих заметок появлялась в газете «Ленинградский университет», но также и в местных газетах, в «Правде Севера» (Архангельской области), где работал мой университетский приятель С. Я. Косухин, и в газетах Коми АССР; некоторые из них были написаны в соавторстве с А. М. Панченко и В. П. Бударагиным.



Александр Михайлович Панченко, историк русской литературы XVII–XVIII вв. и А. Х. Горфункель. Фотография В. П. Бударагина

Другие газетные публикации касались выставок, организованных в Научной библиотеке ЛГУ. Я

считал необходимым знакомить читателей и посетителей библиотеки с сокровищами, выставляемыми для временного обозрения; это были инкунабулы; книги, найденные археографами; издания из «Библиотеки Цензуры иностранной», переданной Ф. И. Тютчевым в ряд петербургских библиотек, главная их часть оказалась в университете; в свое время академик Е. В. Тарле отмечал, что нашел в нашей библиотеке книги, которых не было в немецких собраниях.

Но две совсем небольшие заметки, опубликованные в газете «Ленинградский университет», мне хотелось бы отметить особо. Одна была напечатана без заглавия и без подписи в разделе «Хроника». Речь в ней шла о выставке в память А. А. Ахматовой. Я представил на ней все издания, находившиеся в библиотеке, и прибавил к ним свой экземпляр сборника «Из шести книг», изданного в 1940 г. и, как тогда говорили, запрещенного Сталиным (правда, весь тираж был к тому времени раскуплен), а также редкую копию ее фотографии 1946 г. из Ленинградского Архива фотоматериалов. Насколько я знаю, ни в одной другой ленинградской библиотеке подобных выставок не было. Заметка была напечатана 18 марта 1966 г., а выставка появилась вскоре после кончины А. А. Ахматовой.

Второе сообщение под названием «Выставка в Научной библиотеке» появилось 12 мая 1976 г. Оно было посвящено памяти Владимира Ивановича Малышева, скончавшегося незадолго до этого. На выставке были представлены все главные публикации археографа, оттиски его статей и его фотография.

* * *

Наше крайне небольшое помещение было просто забито новыми поступлениями — из основного фонда, из покупок у букинистов и из находок археографических экспедиций. Книги лежали штабелями на полу, на шкафах, работать с ними становилось все труднее. В конце концов дирекция пришла к нам на помощь, и в 1982 г. нам предоставили новое, большое, только что отремонтированное помещение на третьем этаже с видом на Библиотеку Академии наук, а окна с правой стороны выходили на здание Исторического факультета. Оно превосходило нашу прежнюю клетушку по край-

ней мере в десять раз. При этом нам предстояло отобрать редкие книги из библиотеки в главном здании, а затем и из обменного и резервного фондов.

Работа эта заняла по крайней мере два года. Целые дни мы проводили в пыли среди библиотечных полок. Одновременно мы уточняли и профиль комплектования Отдела редких книг. Мы повысили верхнюю границу для всех русских книг, доведя ее до 1800 г. Отбирали книги из библиотек ученых, книги с автографами, книги Комитета цензуры иностранной. Мы пришли к выводу, что у редких книг не бывает дублетов: даже до выхода из типографии они часто меняли характер набора по причинам техническим и идеологическим, не говоря уже об изменениях, привнесенных в них читателями и владельцами книг. Огромное, как нам поначалу казалось, помещение быстро заполнялось. Один из наших начальников потребовал, чтобы мы представили ему точный рапорт, что после наших поисков в других отделах библиотеки *«редких книг нет»*. Это было, естественно, невозможно, ибо какие книги в дальнейшем окажутся редкими, мы не могли знать, да и наши представления о редкости могли меняться.

Когда газета «Ленинградский университет» превратилась в еженедельное издание и получила значительный объем, мы с Н. И. Николаевым стали печатать там статьи, занимавшие 1–2 страницы. Так появились публикации: «Книги, избежавшие костра» — о сочинениях, которые должны были погибнуть от рук инквизиторов; «Старинные атласы и космографии», где речь шла о собрании книг, расширявших наши представления о мире; «Два фронтисписа» (совместно с Н. И. Николаевым) — о предварявших текст гравюрах в книгах XVII в. Это были «Рудольфовы таблицы» Иоанна Кеплера, напечатанные в Ульме в 1627 г., и «Новый Альмагест» Джованни Баттисты Риччоли, изданный в Болонье в 1651 г. В первом случае фронтиспис изображал развитие астрономии от древних греков до работ самого Кеплера, усовершенствовавшего систему Николая Коперника. Дж. Б. Риччоли, выдающийся астроном-наблюдатель и член ордена иезуитов, представил в своем фронтисписе астрономию, прибегая к компромиссной системе Тихо Браге и приводя в книге тексты запрещения книги Н. Коперника и отречения Г. Галилея.

Была статья о «русском американце», выдающемся просветителе и удивительном по своей судьбе деятеле XVIII в. Федоре Васильевича Каржавине. Среди найденных в нашей библиотеке книг особенно интересными были записи владельца о его пребывании в Париже, о судьбе печатника Тома, который издавал «подметные листы» против якобинского правительства, за что его «лантернизировали [т. е. вздернули на фонарь] по делам».

Особенно интересен оказался Василий Андреевич Пивоваров, создавший коллекцию русских старопечатных книг в университетской библиотеке, о нем шла речь в сообщении «Бескорыстное усердие к общественной пользе». Его изображение появилось на выставке «Ярославские портреты». С судьбой библиотеки «загадочного библиофила» Петра Яковлевича Актова и той ее части, что была отобрана университетским книгохранителем К. Е. Бюшем, знакомила другая статья, основанная на архивных материалах. Среди его книг оказался самый древний инкунабул университетского собрания, страсбургская «Библия» 1460-х гг., и польские статуты 1506 г. О лейпцигской покупке 1830 г., собрании редчайших книг и средневековых рукописей юриста К. Ф. Х. Венку, шла речь в другой публикации. Н. И. Николаев напечатал очерки, знакомящие читателей с другими сокровищами нашего собрания: о библиотеке историка Д. И. Языкова, об астрономической библиотеке П. Б. Иноходцова, об альманахах пушкинской поры, о прижизненных изданиях А. С. Пушкина.

В результате мы с ним вдвоем подготовили книгу «Неотчуждаемая ценность». В ее названии был использован очерк Н. И. Николаева об археографических экспедициях.

Он важен не только сведениями о книжных находках, но и о хранителях книжной старины. В частности, речь шла о крестьянке, читательнице старопечатных книг; у нее в доме были новейшие издания сочинений Николая Кузанского и «Философия религии» Г. В. Ф. Гегеля. «А на вопрос [археографа], читает ли она эти книги, ответила, что читает, что книги хорошие, но что старые книги (указав при этом на старопечатные издания), пишут о том же лучше. Скорее всего, постоянное чтение старой учительной литературы позволило ей читать и понимать, пусть очень по-своему, Кузанца и Гегеля».¹

Много позднее, после личного знакомства с итальянским ученым Карло Гинзбургом (наша переписка началась на много лет раньше), автором известной книги об итальянском философе мельнике Меноккьо, я рассказал ему об этой истории; в то время ему приходилось спорить с оппонентами, которые не признавали за крестьянином права на самостоятельную мысль; я передал ему в переводе выписку из статьи Н. И. Николаева.

Но, пожалуй, самым серьезным вкладом Н. И. Николаева в нашу, в общем-то популярную книжку был составленный им «Список важнейших книжных коллекций, хранящихся в Научной библиотеке Ленинградского университета». Он занимает в ней последние 15 страниц петитом и включает сведения о более чем 170 собраниях, поступивших в библиотеку, начиная с библиотеки П. Ф. Жукова и до книг академика В. В. Струве, поступивших в 1967 г. Эта работа потребовала разысканий в фондах университетской библиотеки, знакомства с коллекциями, исследовательских поисков в архивах. За каждой строчкой стояли годы напряженных занятий.

С этим перечнем Н. И. Николаева был связан не слишком украшающий меня эпизод. После просмотра рукописей из собрания Бестужевских курсов Николай Иванович сказал мне: «Знаете, тут есть стихотворение, оно начинается: “Поистине, еврейки молодой // Мне дорого душевное спасенье”. На несколько минут я был ошарашен: неужели он не знает начала пушкинской “Гавриилиады!”»? Придя в себя, я сообразил, что мой сотрудник разыгрывал меня, и стало невыносимо стыдно. Н. И. Николаев обнаружил неизвестный список пушкинской поэмы. Текстологически он был мало интересен: в нем было множество пропусков и ошибок. Но оказалось (по филиграням), что это был очень ранний список, не позднее 1825 г. Других столь ранних рукописей поэмы не было, поэтому у меня зародилась мысль написать небольшое сообщение (как известно, у каждого русского существует «пушкинский синдром», желание отметить «у Пушкина»). Сам Николай Иванович от этой работы решительно отказался, возможно, в связи с богоульным произведением классика. Сперва работа мне показалась довольно простой, следовало описать рукопись, отметить ее раннее происхождение и особенности списка. Но не тут-то было! Николай Иванович обратил мое внимание на то, что рукопись принадлежала А. Н. Страннолюбскому, одному из организаторов Высших женских курсов, следовало изучить его собрание, понять, как к нему попала рукопись; у меня и без этого хватало занятий. Позднее мне все же удалось прикоснуться к пушкиноведению — но об этом дальше.

Когда книга «Неотчуждаемая ценность» находилась в печати, нас пригласили в редакцию и предложили отказаться от части гонорара по примеру других авторов, университетских профессоров. Н. И. Николаев возразил на это, что профессора получают высокий оклад, а у библиотекарей его нет; в конце концов нам хоть и сократили гонорар, но в меньшей степени, чем предполагалось.

¹ Горфункель А. Х., Николаев Н. И. Неотчуждаемая ценность: Рассказы о книжных редкостях университетской библиотеки. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. С.159.

В предисловии к книге «Неотчуждаемая ценность» мы выразили благодарность за советы нашим коллегам, а также рецензентам рукописи А. М. Панченко и Л. Л. Альбиной. Книга была уже отпечатана, прошла первую или вторую корректуру, когда у нее появился еще один рецензент, Юрий Давидович Марголис. Редакция привлекла его после того, как вышла в 1983 г. работа Н. Я. Эйдельмана о Н. М. Карамзине «Последний летописец». Партийное начальство было крайне обеспокоено как ее содержанием, так и иллюстрациями: в ней оказались портреты Александра I, архимандрита Фотия и А. А. Аракчеева. Пошли приказы по всем издательствам. Ю. Д. Марголис был серьезным исследователем истории России XIX в. Когда мы выходили покурить на лестницу, он «травил» «антисоветские» анекдоты. Но стоило нам войти в кабинет главного редактора, как рецензент преображался. Он внимательно прочитал книгу и обнаружил в ней какие-то упущения. В написанной Н. И. Николаевым главе «От библиотеки Учительской семинарии к библиотеке Петербургского университета» было сказано о подарке редкого издания Фукидида 1540 г., переданного С. С. Уваровым в библиотеку Главного педагогического института. Автор этой главы упомянул о «либеральном духе» первых выступлений С. С. Уварова. Ю. Д. Марголис исправил на «либералистский», что было в духе эпохи, и объяснил, что он не любит Уварова. Признаюсь, что я тоже не любил министра народного просвещения за его отзыв о некрологе А. С. Пушкина: «Стихи писать — еще не значит проходить великое поприще!». Это говорил человек, понимающий стихи, посоветовавший Н. И. Гнедичу переводить «Илиаду» в гекзаметрах, собеседник И. В. Гете. Но он не мог простить А. С. Пушкину стихотворение «На выздоровление Лукулла». Там, где мы писали о борьбе Иоанна Кронштадтского против старообрядцев, нам пришлось добавить, что он был идеологом «крайней монархической реакции». Рецензент заметил, что «Индекс запрещенных книг» включал и порнографическую литературу, но изменений в статье не потребовал. Кажется, были и другие возражения, но Николай Иванович сумел отстоять текст. Это была наша последняя совместная публикация с Н. И. Николаевым. Но наше сотрудничество продолжалось многие годы.

Я с радостью следил за научным взрослением моих бывших учеников, таких как В. И. Мажуга, М. Г. Логутова, Н. И. Николаев и И. Х. Черняк. Постепенно они превращались в серьезных, внимательных и доброжелательных критиков моих последующих работ. Очень важными были замечания И. Х. Черняка по поводу моих воспоминаний. Не могу не вспомнить о моих старых (со школьных лет) друзьях, которым я посылал эти тексты и получал от них серьезные замечания и возражения — Аркадия Давидовича Литмановича и Якова Леонидовича Бутовского, им я тоже многим обязан.

Нельзя не отметить свойственный Н. И. Николаеву особый педагогический такт. В переписке со мной он умел не только исправлять ошибки, но и ненавязчиво ставить передо мной задачи, которых я не сумел или не успел коснуться. Николай Иванович даже напоминал мне о днях рождения и юбилеях наших общих знакомых (о некоторых я забывал, о других в точности и не знал), так что я успевал прислать им достойные поздравления. Он передавал мне замечания своих друзей о воспоминаниях «Моя школа, мои университеты...». Не могу не отметить высказывания одного из них, когда, сравнивая мои записи с мемуарами одного из моих коллег, тот находил, что мы учились как бы на разных факультетах: настолько различен был тон рассказа о наших наставниках. И собственные его замечания и возражения всегда были обоснованы и заставляли задумываться о поисках новых решений. Так мои бывшие ученики превращались в моих коллег, а затем вступали в круг моих учителей.

Придя в библиотеку Ленинградского университета, я довольно близко познакомился с Диной Александровной Якубской; до этого я только знал, что она была женой моего университетского коллеги по кафедре истории Средних веков Владимира Александровича Якубского.

Дина Александровна заведовала залом для научных работников; туда я приносил книги и рукописи (своего читального зала в Отделе редких книг не было). Мы довольно скоро сошлись во взглядах. Позднее мы передавали друг другу рукописи из «Самиздата» и книги из «Тамиздата». Из рассказов Дины Александровны мне запомнился один случай. Когда она смотрела по телевизору в комнате своей соседки по коммунальной квартире высадку американцев на Луну, та воскликнула: «Господи! Что деньги с людьми делают!»

Мне кажется, что именно Д. А. Якубская познакомила меня с Борисом Наумовичем Пескиным; тогда он работал в отделе отечественного комплектования, а затем занимал какую-то должность в хозяйственной части библиотеки. Когда появились в разных учреждениях города кино клубы, Б. Н. Пескин стал одним из деятельных участников этого движения. Они получали ленты, не выпускавшиеся на широкий экран (возможно, от консульств зарубежных стран). Особенно мне запомнился фильм Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде», его, как и другие работы А. Рене, не выпускали на советский экран — разве что во время фестивальных показов; даже фильм Ф. Феллини, получивший главную премию Московского Международного кинофестиваля («8 1/2»), мы увидели только в кино клубе.

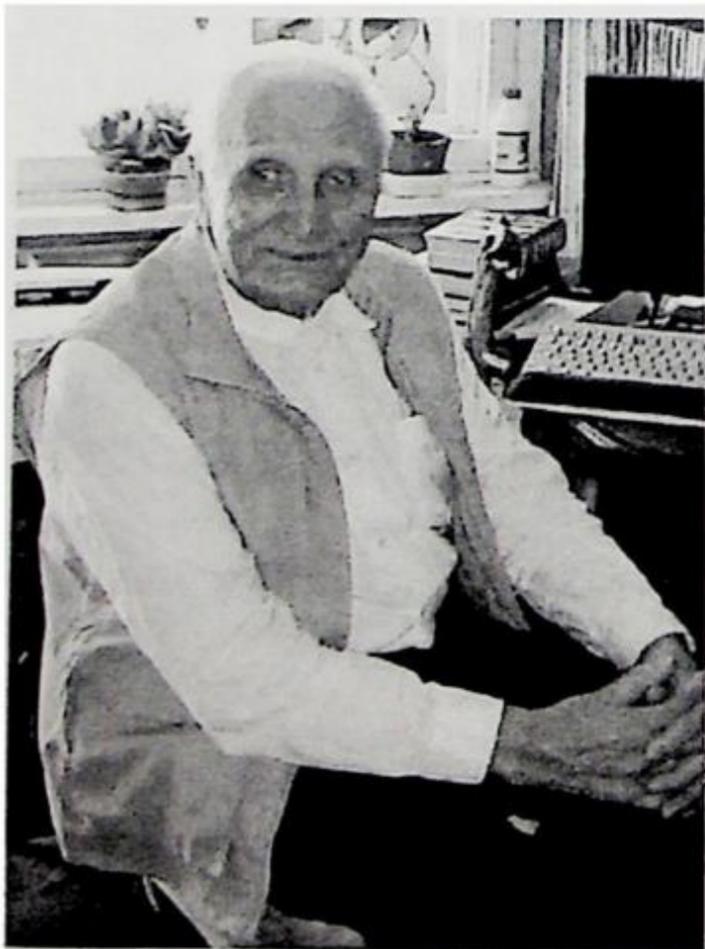
К концу 60-х годов к нашей компании присоединился Вадим Борисович Вилинбахов. С его поступлением был связан несколько странный эпизод. Директор библиотеки К. М. Романовская попросила меня навести справки о нем; я не сумел отговориться, но про себя решил, что никаких порочащих его сведений сообщать не буду (впрочем, их и не нашлось). Кажется, я обратился к декану факультета В. В. Мавродину, его научному руководителю, либо к кому-то из его окружения и получил самый благоприятный отзыв. Мы легко сошлись с ним. Позднее он говорил, что если К. М. Романовская опасалась его как конкурента, то она могла бы понять, что будучи беспартийным он не имел никаких шансов преуспеть в предполагаемой карьере. Впрочем, сам я полагал, что, скорее всего, она получила какие-то доносы, поступившие в дирекцию.

В. Б. Вилинбахов, до того как стал историком (он занимался российским XVIII в.), служил в армии, прошел войну, дослужился до каких-то чинов, но понимал, что ему как беспартийному дальнейшей дороги не будет. Вадим рассказал мне любопытную историю. Во времена «дела врачей» (1953 г.) его призвал к себе хорошо к нему относившийся начальник и спросил о его происхождении; Вадим объяснил, что он был дворянин; начальник попросил представить документы, из которых следовало бы его арийское происхождение. Вадим принес грамоты, хранившиеся в семейном архиве. Его предки перешли на русскую службу из Тюрингии в первой половине XVIII в. Семья приняла православие, а фамилия получила русское окончание, что, вероятно, избавило их от неприятностей во время войны. Начальник и кадровик были довольны, а Вадим ответил: «Сволочи, ведь именно из-за этих бумаг моего отца в свое время выгнали из армии!». Впрочем, возможно, это и спасло ему жизнь: он преподавал в военных учебных заведениях, где «чистка» если и происходила, то не столь жесткая, как в военных частях. Во время нашего знакомства отец Вадима, Борис Афанасьевич Вилинбахов (1897–1969), был известным в стране коллекционером русских и советских экслибрисов. Его собрание насчитывало более 30000 экземпляров.

В 1968 г., после ввода войск Варшавского договора в Чехословакию, мы вчетвером выходили из библиотеки во время обеденного перерыва, бродили вдоль знаменитой университетской решетки, окружавшей сад перед зданием Двенадцати коллегий, и обсуждали разгром неудавшейся попытки ввести «социализм с человеческим лицом». Тогда мне казалось, что мы были единственными в библиотеке, кто так относился к этим событиям. От других своих сослуживцев я слушал в лучшем случае недоуменные отзывы, а чаще и прямое осуждение. Одна из моих собеседниц высказалась с очевидным неодобрением: «Мы сколько лет живем, а они, видите ли, не могут», при этом она даже не понимала подлинный смысл своей фразы. Позднее я узнал, что были у нас и единомышленники, но их высказывания тогда до меня не доходили.

В начале 1970-х гг. Борис Пескин подал документы на выезд из СССР (официально — в Израиль, на самом деле — в США). С него потребовали «выкуп» за полученное им высшее (заочное) образование, но после международного давления эти деньги ему вернули. Я предполагал, что меня призовут в дирекцию на совещание, где обсуждалась его характеристика, необходимая для передачи документов в ОВИР. На этот случай я решил высказать сожаление о том, что достойный человек уезжает из страны. Но меня на это собрание не позвали. Борис рассказывал, что директор библиотеки К. М. Романовская спросила его: «Как вы можете ехать в другую страну, не имея специальности?». Борис готов был ответить: «А я думал, что у нас с вами одна специальность!», но он воздержался от полемики: его целью было получить официальный документ, а не разводить споры с начальством.

На прощание к Борису я не пошел. Я лишь раз забежал к нему домой, Борис один раз заходил ко мне. Я позвонил ему (по телефону-автомату, т. к. в квартире у меня тогда телефона не было), попрощался с ним. В его доме мое отсутствие было замечено. Д. А. Якубская не могла мне этого простить. Она связывала мой поступок с предстоящей защитой докторской диссертации в Москве. У меня тогда об этом мыслей не возникало. Но ехать к нему мне было грустно и тяжело.



Владимир Александрович Якубский,
профессор кафедры истории
славянских и балканских стран
Санкт-Петербургского университета.
Фотография из архива
И. Г. Воробьевой

В 1975 г. состоялась защита докторской диссертации Владимира Александровича Якубского об аграрных отношениях в Польше. Состоялся домашний банкет, к которому я сочинил небольшое стихотворение, то ли эпиграмму, то ли эпитафию. Текст я привожу в несколько измененном и исправленном виде:

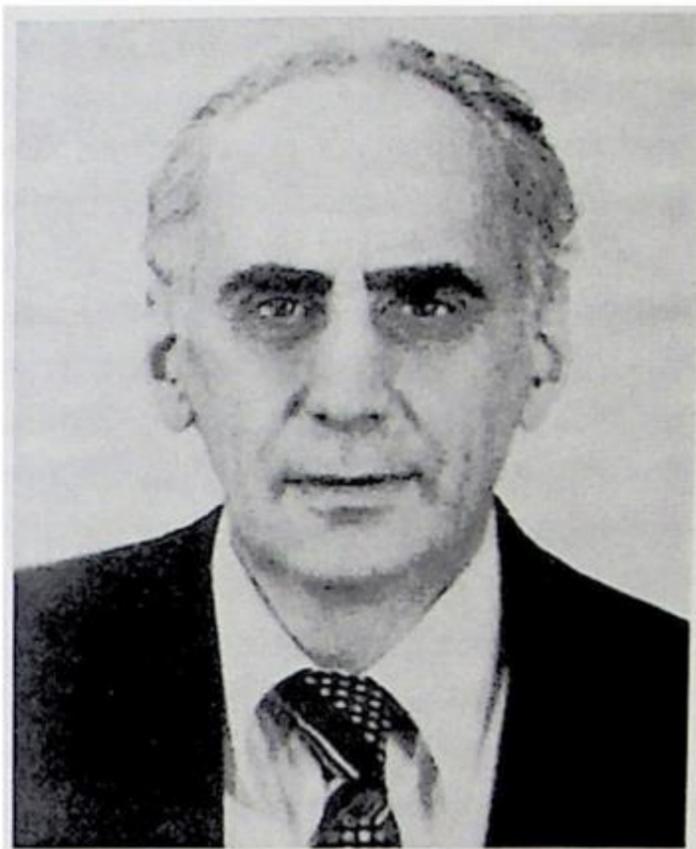
Душой не прилежа до казни душегубской
Еретиков сжигать не пожелал Якубский,
Сказав: «Что дева мне, хотя б и Жанна Д'Арк.
Куда надежнее вложения в фольварк».
Да вот беда: страну заполонили хамы,
Куда ни сунешься — трясут мошной Абрамы.
Грех ростовщичества доводит до трубы.
Ну как тут обойтись без классовой борьбы.
Когда и в Польше вдруг дела пошли, как в Польше,
И тот зовется пан, у кого денег больше,
Не диссертацию — поправ ученый сброд,
Ты защитил себя и трудовой народ.
Теперь уже никто, в науке разуверясь,
Не пожелает впасть в погибельную ересь.
За что твои труды, ясновельможный пан,
Тиснению предадут и PWN и PAN.

Здесь кое-что требует объяснений. «Еретиков сжигали» друзья Владимира Александровича, я и Владимир Райцес: у меня вышла работа о погибшем на костре Джордано Бруно, Райцес издал книги о Жанне Д'Арк, сожженной в Руане. О фольварке, имении, где на барщине работали крепостные, речь шла в диссертации В. А. Якубского. «Книга хамов» — памфлет, где осуждались записавшиеся в дворяне за взятку купцы, среди которых были и крещенные евреи (Абрамы-ростовцики). В украинском историческом журнале появилась статья, где еврейские погромы были представлены как особая форма классовой борьбы. «Дела, как в Польше» — крайне непристойное выражение. «PWN» и «PAN» — главные научные издательства Польши, Польское научное издательство и издательство Польской Академии наук.

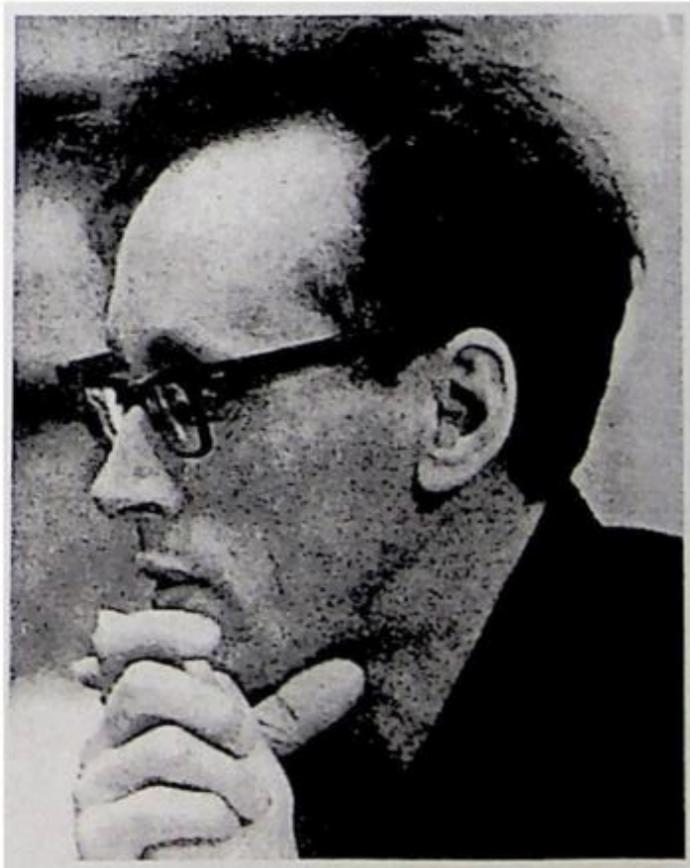
Близкими друзьями Владимира Александровича были Валентин Алексеев и Владимир Райцес. Когда-то я сочинил такой квадрат, где для каждого из нас предназначался угол. Прямые отношения с В. А. Якубским были у Валентина и у Воли, они часто бывали на кафедре. Мои отношения с ним проходили по «диагонали». Сблизились мы уже во время моей работы в университетской библиотеке, я стал бывать у них дома.

В. А. Якубский не был членом партии; самая большая «общественная» должность, на которую он согласился — была работа председателя профсоюзного бюро факультета. Как он позднее объяснял мне, это потому, что он постоянно находился на кафедре и мог легко собирать членские взносы. Признаюсь, я не очень поверил этому: думаю, что тут сыграла роль и его глубокая порядочность.

В 1983 г. в газете «Красная Звезда» была напечатана заметка о том, что «красные следопыты», учащиеся какого-то техникума, работая в архиве Министерства обороны, под руководством своего преподавателя, участника войны, обнаружили сведения о том, что Владимир Александрович Якубский был награжден орденом Ленина, но награду не получил. Сам он никогда не говорил о своих боевых заслугах и не носил планки орденов. Между тем он получил медаль «За отвагу», орден «Славы» III степени и орден «Красная Звезда». Не носил он и нашивок о ранениях (о которых поэт Борис Слуцкий писал, что он им «больше доверял»). В. А. Якубский служил в мотострелковой бригаде.



Владимир Ильич Райцес, автор книг о Жанне Д'Арк и о восстании в Ажене. Из архива А. Х. Горфункеля. Воспроизведено в книге: Райцес В. И. Жанна Д'Арк: факты, легенды, гипотезы. СПб.: Евразия, 2003.



Валентин Михайлович Алексеев, автор книги «Тридцатилетняя война» и посмертно изданных книг о восстании в Варшавском гетто, Варшавском восстании 1944 г., о Венгерской революции 1956 г. и др. Воспроизведено в книге: Алексеев В. М. Варшавское восстание. СПб.: Академический проект, 1999.

Как писал он мне позднее, на его долю «не досталось и половины тех тягот, которые сполна хлебнула пехота». Но он был тяжело изувечен, врачи чудом сумели сохранить ему жизнь. Друзья Владимира Александровича по военной кафедре (находившейся в том же здании, где был и Исторический факультет), принесли ему номер газеты. Там сообщалось, что В. А. Якубский несколько раз перевозил бойцов своего подразделения через реку недалеко от Берлина и был тяжело ранен. Он ответил, что, возможно, там речь идет о нем, но это еще нужно проверить. Потом он объяснял: «Ну что за речка, вроде нашей Фонтанки!» Во время лечения в госпитале он потерял и те награды, которые у него были, а об ордене Ленина ничего не знал. В Актовом зале Ленинградского университета главный военный начальник Ленинграда торжественно вручил ему орден.

Наши отношения с Владимиром Александровичем не прерывались и после моего отъезда в США. Мы переписывались, я посылал ему свои работы, получал и его статьи. Он присылал очень дельные замечания по поводу моих воспоминаний, я же вступал в полемику в связи с некоторыми высказываниями В. А. Якубского и его соавтора Г. Е. Лебедевой об истории нашей кафедры. При моих визитах в Петербург я бывал у них дома в 2004 г. и (после кончины Дины Александровны) в 2007 г.

В послеуниверситетские годы и вплоть до отъезда в США я постоянно бывал в доме Инны Сергеевны и Александра Николаевича Немиловых. Венчались они у священника в Новгороде; кажется, тогда еще не принято было доносить о венчаниях по месту службы. Я много знал об их эрмитажных делах, позднее — о подготовленных ими книгах. Я был представлен и матушке Александра Николаевича. Я обратил внимание на два хранящиеся в доме издания Библии. Первая принадлежала Немиловым, это была старообрядческая (очевидно, белокриницкого согласия) Библия, и в ней, как это было принято, сохранились записи о семейных событиях, о женитьбе, о времени рождения детей, о кончине родителей. В другой, немецкой реформатской Библии, принадлежавшей ма-

тушке Александра Николаевича, сохранились такие же пометы.

Инна Сергеевна принадлежала к роду одного из участников Бородинского сражения, и в беседе с французским искусствоведом они выяснили, что и среди его предков оказался участник этой битвы. Александр Николаевич тоже как-то встретился с немецким коллегой: оба они воевали друг против друга под Смоленском.

В 1974 г. А. Н. Немилов подготовил к защите докторской диссертации недавно изданную им книгу. Однако искусствоведческая кафедра, которой эта работа была отдана на рецензию, потребовала, чтобы его сочинение было отпечатано на машинке с добавлением библиографического введения и приведено в более «диссертабельный» вид. Тогда Александр Нико-



Александр Николаевич Немилов, профессор Санкт-Петербургского университета, историк немецкого гуманизма и искусства Германии XVII в., в Эрмитаже после юбилейной сессии, посвященной 100-летию со дня рождения М. А. Гуковского в 1998 г.

лаевич договорился со своими друзьями в одном из московских искусствоведческих институтов. На кафедре он сказал, что собирается ехать в Москву на защиту, как они решили — в качестве оппонента.

Защита в Москве прошла успешно. Но когда сведения об этом дошли до кафедрального и факультетского начальства (сам А. Н. Немилов был еще в Москве), разразился скандал. Декан факультета чуть ли не среди ночи звонил Инне Сергеевне и угрожал неведомо какими карами. Когда виновник торжества вернулся, его «дело» грозили передать в партийное бюро. Александр Николаевич вступил в партию во время войны, которую прошел с первых дней (т. е. сразу после окончания 1 курса) до Победы. Но из этих угроз ничего не получилось: секретарь партийного бюро факультета понял всю нелепость этой ситуации. В Москве даже распространялись странные слухи о еврейском происхождении А. Н. Немилова: иначе как можно было объяснить борьбу с докторской защитой участника войны, члена КПСС.

Среди моих близких знакомых в библиотеке Ленинградского университета были сотрудники отдела иностранного комплектования Куна Давыдовна Цивина, отдела обработки Римма Александровна Брандт, Нина Осиповна Носкова, Фаина Семеновна Фейгина, позднее — Маргарита Федоровна Тонберг. Это был довольно близкий круг людей, с которыми мы обсуждали библиотечные дела, часто встречались в университетской столовой (так называемой «восьмерке»). Позднее я бывал на «чаепитиях», устраиваемых Татьяной Ивановной Богдановой и ее друзьями. Среди моих «общественных поручений» была и работа «политинформатора»; я старался не врать в рассказах о международном положении.

Добрые отношения сложились у меня с сотрудницей библиотеки Восточного факультета Киной Владимировной Кауфман. Она была внучкой профессора Юридического факультета И. И. Кауфмана. После окончания Восточного факультета в 1949 г. ее рекомендовали в аспирантуру. Профессор А. А. Фрейман (филолог-иранист) утешал ее: «Ну, Вас это никак не коснется». Он имел в виду, что профессор Кауфман был евреем, перешедшим в православие. Он не мог себе представить, что государственный антисемитизм в СССР носил не религиозный, а, скорее, этнический характер, и порой касался русских людей, имевших не вполне понятную «иностранную» фамилию, что встречалось среди дворян. Кира Владимировна рассказывала мне об одной своей сослуживице: им с мужем во время «дела врачей» (1953 г.) обещали предоставить квартиру, из которой должны были выселить еврейскую семью, и они были глубоко разочарованы после оправдания «убийц в белых халатах».

Любопытной оказалась моя встреча с заведующим отделом иностранного комплектования Виктором Петровичем Тетневым. Мы знали друг друга еще по совместной работе в архивах. В библиотеке он был секретарем партийного бюро, но в частных разговорах позволял себе довольно резкие суждения о современной ситуации в СССР, особенно о великом герое Отечественной войны Л. И. Брежнев: его участие в качестве политработника в глазах официальной пропаганды затмило Сталинградскую и Курскую битву, а по количеству наград он превзошел маршалов, полководцев Великой Отечественной войны. Как-то во время довольно открытой беседы В. П. Тетнев сказал: «Ну, тебя, Сашка, давно пора сажать». Я не нашелся, как ему ответить, но потом, прибегнув к известному «остроумию на лестнице», подумал: «Ну, если таких, как мы, надо сажать, то уж таких, как Вы, В. П., будут отстреливать», имея в виду его более опасное положение в партийной иерархии. В какое-то время он добился, чтобы я вошел в партбюро библиотеки (наша организация не превышала 20 человек). Мое вступление в ряды партии в 1962 г., когда обстановка после XXII съезда позволяла надеяться на

перемены к лучшему, тем не менее, было вызвано чисто карьерными соображениями. Позднее я прочитал пьесу Э. Ионеску «Носороги». Там об одном из персонажей, перешедшем в носороги, было сказано, что он при этом не исходил из личной материальной выгоды; на что герой пьесы заметил: значит, у него нет даже этого оправдания.

Я не могу вспомнить, каким образом я познакомился с Мелетием Олеговичем Малышевым. Он преподавал на кафедре истории КПСС и входил в партийное бюро Исторического факультета. На протяжении многих лет мы часто встречались с ним все в



Мелетий Олегович Малышев, во время Отечественной войны был советским разведчиком в Германии

той же «восьмерке», в выгородке из общего зала, предназначенной для преподавателей. Наши с ним разговоры касались и университетских дел, и обстановки в стране, а порой и в мире. Помню, что как-то он сказал мне про А. Д. Сахарова, что тот «доиграется» со своими выступлениями. Я на это ответил: «Тебе видней». Он тут же нагнал меня (дело было около площади перед Библиотекой Академии наук, которая теперь носит имя академика) и спросил: «А что ты имеешь в виду?». Я предполагал лишь его осведомленность в политике партийного руководства.

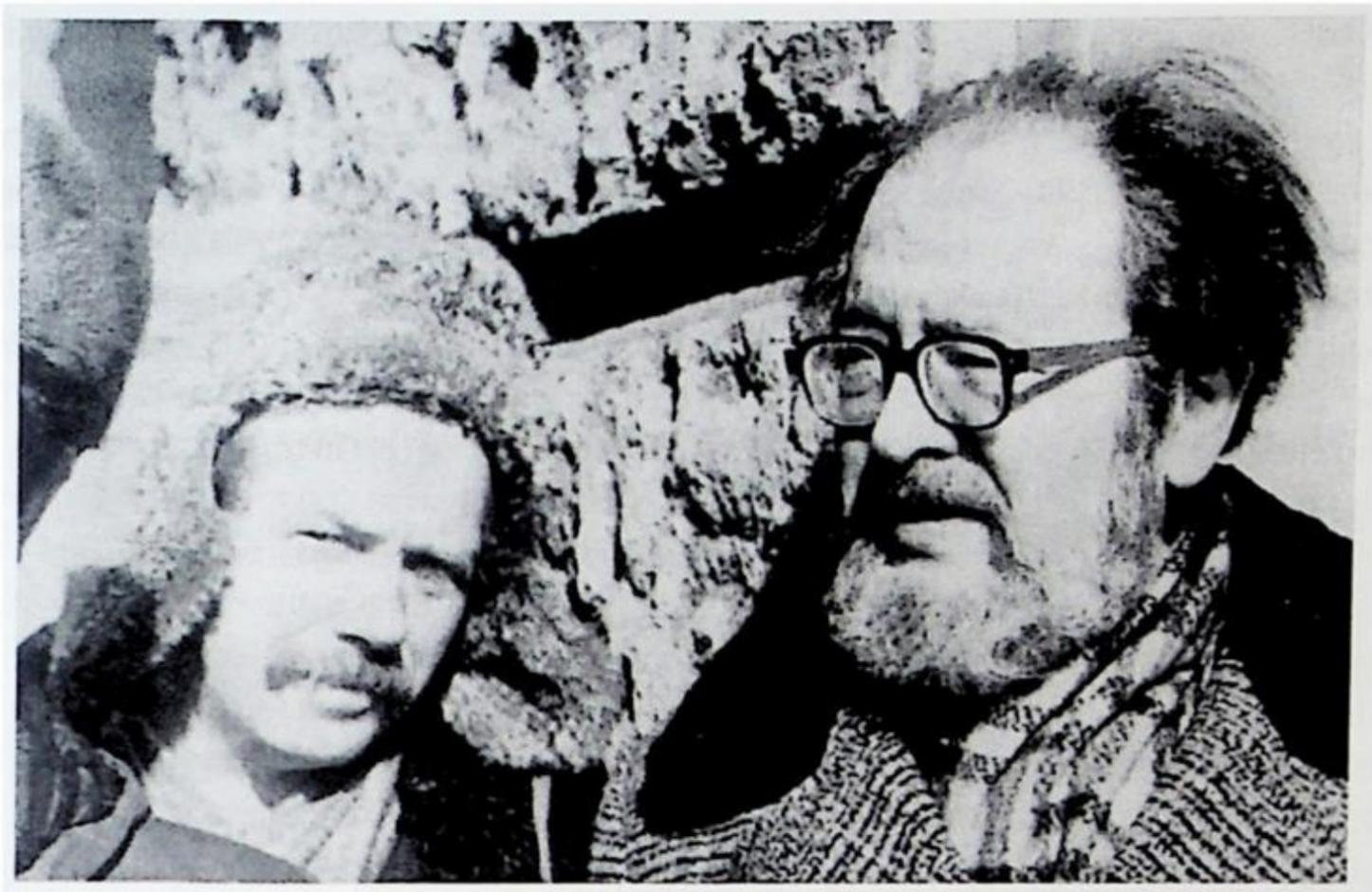
Я узнал от М. О. Малышева о его работе советского разведчика. В годовщину Победы с части его прошлого был снят гриф секретности. Помню, что когда я сказал об этом директору библиотеки К. М. Романовской, она мне не поверила: видимо, весь облик этого человека никак не подходил для роли Джеймса Бонда. Мелетий Олегович рассказывал мне, как он «был взят немцами в плен» и постепенно согласился на сотрудничество с ними. Ему пришлось скрывать свое знание немецкого языка. Однажды вербовавший его офицер оставил его в кабинете, где

в выдвинутом из стола ящике находился револьвер — похоже, что у него тоже было несколько странное представление о человеке, согласившемся на роль будущего шпиона. В дальнейшем М. О. Малышев попал в немецкую школу, где готовили разведчиков. Ему приходилось видеть нескольких деятелей гитлеровского режима (кажется, Гиммлера, Геринга, Розенберга и кого-то еще). Его забросили на территорию СССР. Через некоторое время, «справившись» с полученными заданиями, он был снова отправлен в Германию; но о своем дальнейшем там пребывании он ничего не рассказывал.

Мои друзья (Ю. В. Егоров, В. И. Райцес, Е. М. Тепер, В. М. Алексеев) пригласили его к себе. Потом они сами признавались, что многого не сумели узнать, т. к. больше говорили сами. Когда я спросил об этом Мелетия Олеговича, он, смеясь, признал это, сказав, что их собственные рассуждения были для него достаточно интересны.

От одного из своих знакомых я слышал несколько иную версию: по его словам, Малышев был на самом деле Кляйн, из русских немцев. Разумеется, никаких подтверждений этому у меня не было, а с М. О. Малышевым я не решился об этом говорить.

В 1969 г. Н. И. Николаев решил поступать на дневное отделение Исторического факультета. Я посоветовался с М. О. Малышевым; во время нашего разговора он произнес фразу: «Коля Николаев... Коля Иванов...» — явно имея в виду осужденного участника ВСХСОНа. На экзамене Николая Ивановича провалили. На следующий год он поступил на Филологический факультет, по совету А. И. Зайцева, на кафедру классической филологии.



Николай Иванович Николаев, сотрудник (а затем и заведующий) Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки Санкт-Петербургского университета и А. Х. Горфункель.
Фотография Бударагина

Когда я готовил плановую работу — «Каталог прижизненных изданий произведений В. И. Ленина», Мелетий Олегович согласился написать вступительную статью; в моем предисловии я касался чисто книговедческих проблем.

* * *

Во время моей работы в библиотеке Ленинградского университета я не раз побывал в книгохранилищах страны — в Саратове, Казани, Новосибирске, Иваново, Свердловске. Особо мне хотелось бы отметить мои поездки в Киев и Вильнюс. В Киеве я был не в командировке. В 1968 г. я гостил в Чернигове в доме своего ученика Владимира Ивановича Мажуги, и оттуда отправился сперва на пароходе по Десне, а последнюю часть пути прошел пешком. Старушки спрашивали меня, почему я не пользуюсь транспортом, я пытался что-то объяснить, и они поняли: «Значит, по обету».

В городе мне повезло — я сумел остановиться в какой-то очень уж невзрачной и недорогой гостинице (что-то вроде «Дома колхозника») и отправился в главную библиотеку, когда-то университетскую, но к этому времени она принадлежала Академии наук Украины. Я пошел прямо в Отдел редких книг. Видимо, мой вид несколько смутил хранительницу, и взглянув на мою изрядно потрепанную после нескольких дней пути одежду, она решительно сказала, что «просто так» свои сокровища не показывает. Пришлось предъявить служебный пропуск и преподнести экземпляр вышедшего в 1967 г. «Каталога инкунабулов». Оказалось, что и имя, и каталог были ей известны.

С тех пор завязалась моя долгая дружба и переписка с Галиной Ивановной Ломоносовой. Мы консультировали друг друга по проблемам описания инкунабулов, присылали сведения о новой литературе, побывала она и у нас дома в Ленинграде. В дальнейшем я получал от Галины Ивановны сведения об интересующих меня изданиях итальянских философов XVI–XVII вв. Между тем положение исследователя в библиотеке ухудшалось: она готовила к изданию каталог инкунабулов покойного Б. И. Здане-

вича и никак не собиралась включать в «соавторы» начальство, не имевшее к этому ни малейшего отношения. Книга вышла из печати в 1974 г. под ее редакцией, но похоже, что эта тяжелая борьба отразилась на психологическом здоровье Г. И. Ломонос-Ровной. Ее уволили из библиотеки. Заведующий Отделом редких книг Библиотеки им. Ленина Е. Л. Немировский пригласил ее в Москву. Но ее письма свидетельствовали о все ухудшающемся состоянии, с элементами мании преследования. Мы (я и сотрудник Отдела редких книг Публичной библиотеки Н. В. Варбанец) пытались ей помочь, обращались в Киев и Москву, добиваясь восстановления ее на работе. В следующий свой приезд в Киев я побывал у нее дома, старался ее поддержать, но этот превосходный специалист оказался среди жертв тогдашних социальных обстоятельств, пусть не политических, а служебно-бытовых.

Нечто подобное произошло с хранителем редких книг в Библиотеке Иностранной литературы в Москве: у меня побывал работник, серьезно относившийся к работе с редкими книгами, мы с ним обсуждали проблемы их описания (к сожалению, имя его я не запомнил); через некоторое время у нас в отделе появился некий полковник, заведующий отделом. Когда я упомянул имя моего недавнего посетителя, он довольно резко ответил: «Мы вынуждены были с ним расстаться». Ничего путного из беседы с этим крайне невежественным человеком не получилось. В то время в библиотеку принимали уволенных сотрудников из иностранных посольств; их называли «черными полковниками» (так именовали военную хунту, захватившую власть в Греции). Очевидно, избавиться от них не могла даже директор библиотеки Л. А. Гвишиани-Косыгина, дочь председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина и жена секретаря Президиума Верховного Совета. Сама она сделала немало полезного для библиотеки.¹

Серьезные отношения сложились у меня с библиотеками Вильнюса. К нам приезжал хранитель редких книг из собрания Библиотеки Академии наук Литвы Юозас Тумялис. Он обнаружил в нашем собрании ряд редчайших литовских изданий. Потом, в связи с юбилеем Библиотеки Вильнюсского университета, я подарил ему некоторые из них. К сожалению, я тогда не знал, что книги могли принадлежать библиотеке основателя славяноведения в России П. И. Прейса. В те времена Ю. Тумялис был лишен возможности заниматься наукой в Вильнюсе (кажется, был изгнан из аспирантуры по причинам идеологического характера). Я пытался помочь ему в Ленинграде, но безуспешно. В конце 1980-х — начале 1990-х гг. он стал одним из деятелей освободительного движения в Литве.

С Ноюсом Фейгельманасом, заведующим Отделом редких книг Библиотеки Вильнюсского университета, мы были знакомы многие годы; он приезжал в Ленинград, я несколько раз побывал у него в отделе. Когда он опубликовал книгу «Инкунабулы Литвы», где описал все первопечатные книги, хранящиеся не только в библиотеках, но и у частных владельцев, я напечатал отзыв о ней. Н. Фейгельманас помогал мне и в моих изысканиях в связи с изучением редких изданий итальянских философов.

Когда он привел меня в кабинет директора библиотеки, меня поразила несколько странное обращение: Н. Фейгельманас называл его: «Товарищ директор». К этому времени слово «товарищ» в России совершенно исчезло из обихода. Но через несколько минут я понял: таким образом он заменял слово «господин», к этому времени тоже ушедшее из официальной речи. В России в таких случаях употребляли отчество.

¹ Котрелев Н. В. Плач о гибели русской библиотеки // Редкие книги и рукописи: Изучение и описание. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. С. 88–110.

Во время одного из таких визитов в Вильнюс, в 1970 г., в связи с юбилеем книгохранилища, туда прибыло много гостей из разных университетских библиотек. Когда мы появились в большом зале, я был оглушен громом аплодисментов. Признаюсь, сперва я считал, что такой неожиданный прием относился к нам, но через несколько минут понял, что сотрудники библиотеки приветствовали бывшего директора университетской библиотеки, Льва Ивановича Владимирова. До этого он заведовал библиотекой Организации Объединенных Наций, и так успешно, что его попросили оставить на следующий срок. Он не стал занимать место нового директора, а стал профессором кафедры книговедения. Эта встреча напомнила мне историю, рассказанную на страницах журнала «Огонек» известным актером Б. П. Чирковым. Он приехал в Париж, где с большим успехом шел на экранах фильм «Юность Максима». Во время прогулки по городу ему показалось, что кто-то обращается к нему: «Максим! Максим!». Такой неожиданный успех на парижской улице обрадовал его, пока он не понял, что прохожий вызывает: «Такси! Такси!».

Во время автобусной экскурсии по городу наш гид подробно рассказывал о достопримечательностях Вильнюса, показал открытые для верующих храмы, не забыл упомянуть о польско-литовском государстве, которое в свое время занимало большую территорию «от моря до моря», а проезжая мимо Центрального Комитета Коммунистической партии Литвы не забыл объяснить, что ее первым секретарем был на протяжении более 30 лет Антанас Снечкус, который занимал эту должность и в конце 1930-х гг., что было почти невероятным для партийного руководителя этих лет. После окончания экскурсии один из его слушателей потребовал, чтобы мы написали «кому следует» о его сомнительных с идеологической точки зрения ошибках. На это директор харьковской библиотеки, полковник, решительно отрезал: «Стучать не будем». Перед этим, рассказывая о вступлении войск ГДР в Чехословакию в 1968 г., он с восхищением сообщил нам, что встретившись с сопротивлением чехов, они полностью уничтожили эту деревню (или городок), вместе с детьми. Не думаю, что это было правдой — от своего друга В. М. Алексеева, изучавшего события в Чехословакии, и от побывавшего в это время в качестве переводчика в Праге В. П. Бударагина я ничего подобного не слышал. Я не поверил его рассказу и ответил, что если бы такое произошло, то ГДРовские немцы были ничуть не лучше своих предшественников из Третьего Рейха.

* * *

В 1962 г. я дважды присутствовал на публичных выступлениях Иосифа Бродского — сперва в аудитории Исторического факультета ЛГУ, потом в академическом институте Востоковедения. Там читали стихи И. Бродский, Д. Бобышев, А. Найман и другие поэты. Много мне запомнилось, какие-то строчки я удержал в памяти до сих пор. Но главное впечатление оставил Иосиф Бродский. Я услышал его поэму «Гость», «Рождественский романс» («Плывет в тоске необъяснимой»), «Ни страны, ни погоста...», «Холмы». Были и более ранние стихи. Много завораживало, как и манера чтения. Особенно это ощущалось в поздних стихотворениях (поэмах) «Большая элегия Джону Донну», «Исаак и Авраам»... Мы встречались с Иосифом Бродским в доме Эры Коробовой и Анатолия Наймана. Когда мы с ним вышли с Бродским на лестницу, он сказал: «А что, вроде бы ничего стишки были?». Свое общение с Иосифом Бродским (как и с некоторыми другими людьми) я определял так: «Я с ним был знаком, он со мной — нет».

29 ноября 1963 г. в газете «Вечерний Ленинград» была опубликована статья Я. Лернера, А. Ионина и М. Медведева со скандальным названием «Окололитературный трутень», направленная против Иосифа Бродского и предвещавшая суд над поэтом.

8 декабря я направил в редакцию газеты письмо. В нем я признал, что я не знаком с биографией поэта (я понимал, что в газете она содержала грубые искажения), но меня интересовали стихи: в доносе цитируются два стихотворения, вообще не принадлежавшие ему (они принадлежали Д. Бобышеву, я слушал во время одного из поэтических вечеров), а отрывок из поэмы «Шествие» был приведен в виде отдельных обрывков строк, лишенных какого бы то ни было смысла. В ответ газета опубликовала 8 февраля 1964 г. подборку писем читателей, озаглавленную «Тунеядцам не место в нашем городе». Помимо негодующих писем (по принципу: «Я Пастернака не читал, но...»), там упоминались и высказывания в защиту И. Бродского (мои и поэта Е. Кумпан), но ни слова не было приведено из наших доводов.

Когда номер газеты появился в библиотеке, некоторые из моих знакомых спросили Л. А. Шилова, как он собирается поступить в этой ситуации. Он ответил, что в статье ничего не сказано о месте моей работы, поэтому ему и не следует на нее реагировать. Это была несомненная уловка: выяснить, кто автор письма, не составляло труда, а уж в Отделе кадров университета знали, о ком идет речь.

Через несколько дней я появился в кафетерии на Малой Садовой, где обычно тогда собирались отчужденные от официального признания поэты и художники. Оказавшийся там Н. И. Николаев (ему показали меня его друзья, работавшие в университетской библиотеке), объяснил питерской богеме, что я автор названного в газете письма. Тогда же мне сказала о своем одобрении поэт Татьяна Галушко, с которой нас связывали долгие годы дружбы.

После возвращения из ссылки Иосифа Бродского я слышал его выступление в Союзе писателей в 1969 г. Вел вечер Я. Гордин, мне запомнился и Б. Вахтин. Помимо Бродского там читали писатели С. Довлатов, В. Марамзин, В. Уфлянд, поэты Т. Галушко, Е. Кумпан, А. Городницкий, была устроена выставка работ художника Я. Веньковецкого. По начальству был подан донос, подписанный, кроме других авторов, сотрудником Пушкинского Дома Н. Утехиным. Собрание в Союзе Писателей было там представлено как «сионистский митинг», а его устроителей призывали привлечь «к уголовной, партийной и административной ответственности». Это было последнее выступление И. Бродского, которое мне довелось слушать в Ленинграде.

9 марта 1966 г. мы пошли на похороны Анны Андреевны Ахматовой. Накануне я был в Никольском соборе и впервые услышал из уст священника молитву Ефрема Сирина («Во дни печальные Великого поста»). На следующий день у собора собралось неизмеримое множество людей (хотя никаких официальных сообщений не было). Пришли поклонники поэзии Ахматовой всех поколений, бросившие занятия студенты. В собор мы не попали и находились во дворе. Кинематографисты пытались снять церемонию прощания; почему-то им пытался запретить это Лев Николаевич Гумилев, считая это провокацией. На самом деле они работали в тайне от начальства и чудом сумели сохранить пленку, которую мы увидели в годы перестройки. После того, как ученики Анны Андреевны вынесли на руках ее гроб, мы не пошли на вторую, официальную, гражданскую панихиду в Союзе писателей и отправились в Комарово, куда поспели как раз ко времени похорон.

* * *

В 1967 г. у нас в доме был обыск — в квартире Сергея Алексеевича Беляева, аспиранта Института истории. Мы довольно скоро подружился с ним, он бывал у нас дома, да и я приходил к нему. Он знакомил меня со своими французскими друзьями. Как-то я встретил у него и Евгения Вагина (тогда я не знал о его роли в ВСХСОН).

Когда моя жена, отправляясь на работу в Эрмитаж, увидела стоящего у нашего подъезда служащего из «органов», она заметила: «Давно вас не было». Во время обыска С. Беляев предложил позвать нас в качестве понятых, ему ответили, что мы для этого не годимся, поскольку моя жена высказала свое отношение к ним. Сергей пригласил живущего в нашем доме Игоря Николаевича Хлопина, работавшего в Институте археологии. Должен сказать, что И. Н. Хлопин оказался очень уместным «понятым», он иронически высказывался о действиях людей из КГБ, и в то же время очень внимательно следил за их поступками и всячески пытался им помешать. А главное — морально поддерживал Сергея. В тот же день я отправился в Пушкинский Дом и там, в вестибюле, который тогда был главным местом для курящих сотрудников, рассказал об этом Александру Михайловичу Панченко и его друзьям (правда, недалеко от нас оказался какой-то малопрятный тип, который пытался прислушаться к нашему разговору).

Сергея не раз вызывали на допросы в «Большой дом» на Литейном. Что от него пытались узнать, я не мог предполагать, сам он об этом мне ничего не рассказывал, да я не расспрашивал. Помню только, что состояние его было очень тяжелым, и один раз он даже попросился переночевать у нас. Когда к нему приехал его отец, священник о. Алексей, он благодарил меня за поддержку, которую мы оказывали Сергею. Приезжала к нему и его тетушка — перепечатывать его диссертацию; как-то она мне сказала: «Саша, а что они все диссертации пишут; читали бы лучше!».

Я старался помочь ему в переводе латинского текста епископа Виктора из Виты (V в.), которое легло в основу его диссертации: там речь шла о преследовании христиан вандалами-арианами.¹

Сам я многим был ему обязан: от него я узнал ранние сочинения А. Ф. Лосева, пользовался его библиотекой, замечательной по подбору книг. Он был знаком с М. М. Бахтиным, с художником Кориным, с пианисткой М. В. Юдиной. У него оказалась французская пластинка, где были записаны цыганские песни в исполнении «Володи Полякова и Вали Дмитриевич» — «Последние голоса цыган».

Тогда я никак не мог предполагать, что Сергей Алексеевич Беляев проявит себя в последующие годы, после переезда в Москву, в качестве упорного и яростного юдофоба. Мне сообщали об этом со ссылкой на людей, принимавших участие в его археологических экспедициях. Однако в его отношении к нам это никак не отражалось. Впрочем, у каждого антисемита часто имеется «свой еврей», то ли соученик, то ли сослуживец, то ли фронтовой товарищ. Я объясняю это тем, что вражда к евреям, как правило, исходит не из личного опыта, а из более абстрактных теоретических представлений.

Среди сослуживцев С. Беляева в Ленинградском отделении Института истории распространился слух о его сотрудничестве с «органами». Я думаю, что у них было немало способов оказать на него давление, как на сына священника, вплоть до увольнения из аспирантуры. Ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения у меня не было никаких оснований. Он часто бывал у нас дома, особенно когда к нам приходил Валентин Алексеев. Когда у меня возникли какие-то сомнения, Валентин Михайлович твердо мне сказал, что это уже мое дело, кого принимать, а он будет вести себя и высказываться так, как он привык.

Но один случай показался странным. В нашем доме во время приезда в Ленинград Ирина Васильевна Поздеева справляла свой день рождения. Вместе с ней был у нас и

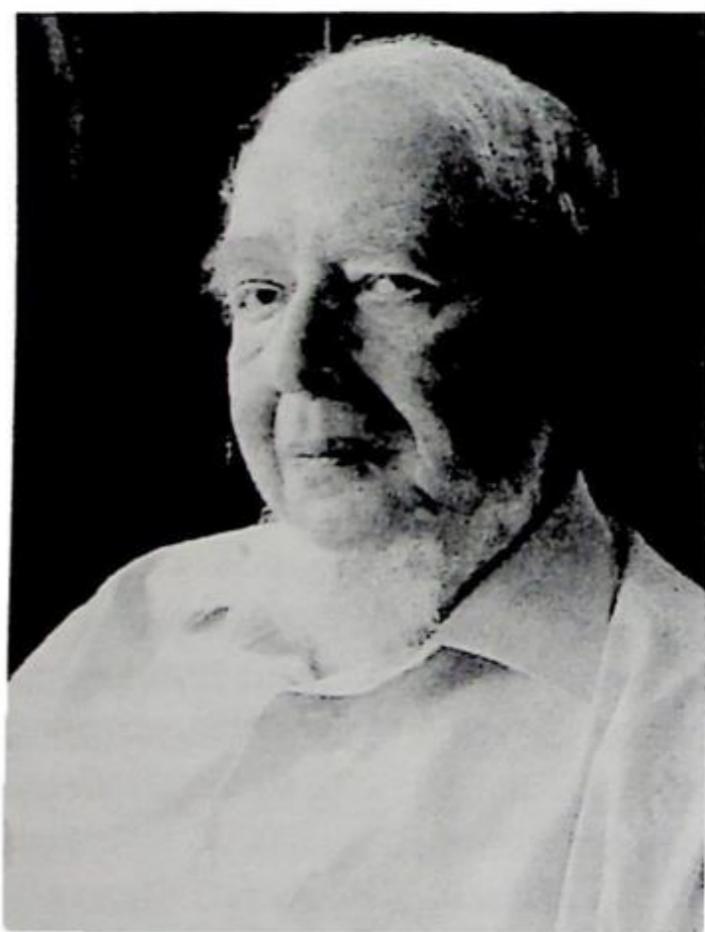
¹ См. автореферат кандидатской диссертации: Беляев С. А. Города Римской Северной Африки во времена владычества вандалов. По данным Виктора из Виты. Воронеж, 1970.

Николай Николаевич Покровский, приехавший для работы в архивах и для выступления с докладом в Институте истории. Зная его неприязненное отношение к людям случайным, я не стал никого приглашать. И вдруг к нам в дверь постучал С. А. Беляев. Оказалось, у него есть какой-то вопрос к Н. Н. Покровскому. Я позвал Николая Николаевича в переднюю. Сергей хотел выяснить мнение ученого из Новосибирска об одном хранящемся у него средневековом или старообрядческом изображении Христа (или Распятия? — точно не помню). Николай Николаевич объяснил, что это не по его части (хотя, возможно, он и встречался с такими предметами в экспедициях). На этом консультация закончилась, и принять участие в празднике нашему соседу не удалось.

Много позднее, уже находясь в Бостоне, я ознакомился с работами С. А. Беляева. Помимо его археологических исследований о Херсонесе и многочисленных работ по истории Русской Церкви, я прочитал его доклад об убийстве царской семьи в Екатеринбурге в июле 1918 г. Автор показал, что это преступление ни в коей мере не было ритуальным, а имело чисто политический характер, чем вызвал гневные отклики сторонников идеи сионистско-масонского заговора.

* * *

В конце пятидесятых годов я познакомился с Леонидом Михайловичем Баткиным. Сперва я получил первые оттиски его статей, мы стали переписываться. Потом он приехал в Ленинград, я выступал на предварительном обсуждении его диссертации. В 1958 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском отделении Института истории. Правда, сам Л. М. Баткин не вспоминает о событии, отчасти



Леонид Михайлович Баткин,
автор книг об Итальянском Возрождении, сборника «Пристрастия»
и книги о поэзии Иосифа Бродского.
Участник Московской трибуны

сходном с моей предзащитной историей: директор Института М. П. Вяткин попытался сорвать и эту защиту (чем он руководствовался в данном случае, я не помню), и только дружное сопротивление всех присутствующих, членов Ученого совета и официальных оппонентов заставило его отказаться от этого намерения.

С этих пор началась наша многолетняя дружба и длительная переписка; в моем архиве сохранились десятки писем Л. М. Баткина и мои письма к нему с 1967 г. по 1992 г., они касались и научных новостей, и работы наших коллег, в какой-то мере затрагивали дела общественные (с учетом необходимых цензурных ограничений). Одно мое письмо 1980 г., в котором я с похвалой отозвался о сочинении Д. С. Лихачева («Заметки о русском»), опубликованном в журнале «Новый мир», вызвало обстоятельный ответ Л. М. Баткина, который он отправил не только мне, но и пустил в анонимный «самиздат». Опубликован этот текст был только в 1994 г., в сборнике «Пристрастия».¹ Я так и не согласился со многими выводами моего друга, а

¹ Баткин Л.: 1) Пристрастия: Избранные эссе и статьи о литературе. М.: ТОО «Курсив-А», 1994. С. 243–264; 2) Пристрастия: Избранные эссе и статьи о литературе. М.: Изд. центр РГГУ, 2002. С. 554–576.

дальнейшие выступления Д. С. Лихачева только подтвердили мое «пристрастие» к «Заметкам о русском». Кроме того, как мне кажется, Л. М. Баткин слишком мало представлял себе быт и нравы русской деревни, даже в ее «пост-колхозный» период.

В 1973 г. в ленинградском отделении Института истории прошло обсуждение рукописи новой книги Леонида Михайловича «Сущность Итальянского Возрождения». Я запомнил очень серьезный отзыв В. И. Мажуги (тогда аспиранта), назвавшего эту работу «новым Буркхардтом», одобрительный отзыв Е. В. Бернадской. Поддержал эту работу и я (еще раньше в письме автору я назвал ее дельной попыткой историко-теоретического синтеза; потом написал и отзыв об этой работе). Особенно основательным было выступление А. Д. Люблинской. Были и странные отклики: И. П. Медведев возмущался фразой автора о том, что в Италии «все дороги ведут в Рим, вернее — из Рима» и требовал пояснить — куда и откуда все же вели эти дороги. Но В. И. Рутенбург решительно отверг новую работу Л. М. Баткина. А когда ее готово было принять итальянское коммунистическое издательство (кажется, сведения об этом появились в газете «L'Unita»), то В. И. Рутенбург воспрепятствовал изданию. В 1979 г. был напечатан ее немецкий перевод в Дрездене (ГДР), в 1986 г. он был переиздан во Франкфурте-на-Майне (ФРГ).

Другое исследование Л. М. Баткина было опубликовано в популярной серии издательства Академии наук. Я написал (тайную) рецензию (мое имя не было обозначено на обороте титульного листа книги; возможно, тогда это не было принято). Редактором книги был известный искусствовед М. В. Алпатов.¹

На одной из конференций Л. М. Баткин выступил с большой речью (фактически с докладом) о проблемах Итальянского Возрождения. В ответ искусствовед В. Н. Гращенков высказался крайне обличительно и грубо. Как сказал в кулуарах конференции В. И. Рутенбург, за такое скандальное нападение на проклятом Западе могли бы хорошо заплатить как за рекламу.

Но вскоре я узнал, что В. И. Рутенбург, ответственный редактор материалов конференции не включил туда выступление Л. Баткина. Помню, что у меня был очень серьезный разговор об этом с А. Н. Немиловым, который всячески поддерживал редактора. Когда я добился свидания с Виктором Ивановичем у него дома, мне было объяснено, что в труды конференции включаются только объявленные в программе доклады. Но когда сборник вышел в свет, я обнаружил в нем выступление одного из участников, никак не связанного с программой конференции. Это было последнее выступление Л. М. Баткина: более он в таких собраниях участия не принимал.

Между тем книги и статьи Л. М. Баткина появлялись в переводах на итальянском языке, а также на языках других стран Европы.

Только в 1991 г. Леонид Михайлович защитил докторскую диссертацию на основе доклада, который опирался на десятки опубликованных книг, в том числе и изданную в Италии книгу о Леонардо да Винчи, удостоенную премии Совета Министров Итальянской Республики. В автореферате я был назван среди официальных оппонентов.² Я послал отзыв.

¹ Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: Стиль жизни и стиль мышления. Отв. ред. М. В. Алпатов. М.: Наука, 1978.

² Баткин Л. М. Итальянское Возрождение как исторический тип культуры. Научный доклад на соискание ученой степени доктора исторических наук. М.: Институт Всеобщей истории, 1991.



Леонид Михайлович Баткин в Санкт-Петербурге

Через два года я выехал в США. Мы встретились с Леонидом Михайловичем в доме моих московских друзей; помню, что я сказал ему, что я вряд ли смогу заниматься наукой на новом месте. К счастью, это оказалось не так, я смог работать, публиковать свои статьи в США, Италии, Англии и России. И получать новые издания Л. М. Баткина и переписываться с ним.

* * *

Вскоре после поступления в библиотеку я начал работать над докторской диссертацией. Директор библиотеки Кира Михайловна Романовская поддержала меня и обратилась к начальнику отдела кадров С. И. Катькало с просьбой предоставить мне отпуск для завершения работы. В университете этот чиновник был известен как яростный антисемит. Он ей решительно отказал, а на возражения К. М. Романовской ответил: «Да никакой он не специалист!», заранее перечеркнув все будущие решения Ученого совета Философского факультета МГУ и Высшей аттестационной комиссии.

Между тем, уже после двух защит, которые никак не сказались на моем материальном положении, многие мои друзья и знакомые пытались мне помочь.

Когда к В. М. Алексееву обратился директор Музея истории религии и атеизма Николай Красников (мы с ним учились на близких курсах на Историческом факультете), предложив ему перейти в Музей, Валентин, работавший в Публичной библиотеке, отказался, но посоветовал обратиться ко мне. Н. Красников вынужден был пригласить меня, и тут началась сцена, сильно смахивающая на известный анекдот: еврей беседует с начальником, к которому пришел наниматься на службу. Он отвечает всем предлагаемым ему условиям — знаком с производством, имеет большой опыт работы, знает иностранные языки и т. п. В конце концов начальник взрывается: «Кончишь ты надо мной издеваться, жидовская морда!» Директор Музея сказал, что ему нужен специалист по религии и атеизму — я ответил, что у меня вышли работы о Джордано Бруно; он объяснил, что ему требуется исследователь русской истории — я упомянул диссертацию о Кирилло-Белозерском монастыре. Кончилось это тем, что Музею необходим историк советского периода — тут мне было крыть уже нечем и я удалился.

Мой сосед по дому Лев Иванович Спиридонов, с которым мы прятельствовали и часто совершали прогулки вокруг нашего дома на Бестужевской и за линией железной дороги (он был доктором наук и преподавал в милицейской академии), тоже попытался помочь мне. Однажды он радостно сообщил, что какие-то его друзья готовы принять меня на кафедру «научного коммунизма» в техническом вузе. Я объяснил, что просто по полному невежеству могу совершить грубые идеологические ошибки в новом предмете. Он ответил, что я просто не хочу зарабатывать большие деньги, что, вероятно, было правдой (т. е. я, конечно, не возражал против заработка доктора наук, но не любой ценой). В 1970–1980-гг. меня снова рекомендовали (В. Б. Вилинбахов, В. И. Рутенбург и некоторые сотрудники музея) в Музей истории религии и атеизма (уже при другом директоре этого учреждения). Но выяснилось, что тот наводил обо мне справки в университете, то ли в отделе кадров, то ли на Философском или на Историческом факультете, и узнал, что я — «антисоветчик и сионист». С первым определением я готов был согласиться, хотя диссидентом не был и в протестных акциях участия не принимал; только читал и передавал друзьям рукописи из «Самиздата» и книги из «Тамиздата». Но я, уважая людей, считавших своей родиной государство Израиль и добивавшихся выезда туда, что именно в эти годы было чрезвычайно сложно, сам сионистом не был (если не считать популярной в те годы песенки, где современный чиновник осуждает своего папашу; «Он зовет сионистов жидами!»). В других случаях были ссылки на то, что им «не рекомендовали» уже безо всяких объяснений: «Ты ж понимаешь».

В 80-е годы Александр Михайлович Панченко обратился к академику Д. С. Лихачеву, чтобы тот написал письмо в ректорат университета с просьбой изменить мой оклад в библиотеке, приведя его в соответствие с ученой степенью доктора наук. К этому письму присоединились два члена-корреспондента АН, итальянист В. И. Рутенбург и этнограф Кирилл Васильевич Чистов, с которым мы были знакомы в Петрозаводске. После этого А. М. Панченко попросил меня получить рекомендации из Москвы. Я написал академику Георгию Владимировичу Степанову, с которым мы были знакомы во время его жизни в Ленинграде, мы бывали друг у друга в гостях, и моему коллеге и старому другу В. В. Соколову. Тот привлек к этому письму академика Т. И. Ойзермана, члена-корреспондента АН С. Р. Микулинского, поставил и свою подпись. Я печатался в трудах шести академических институтов: Института Русской литературы (Пушкинский Дом), Института истории России, Института Всеобщей истории, Института философии и Института истории естествознания и техники, так что мои работы были им известны.

Письма поступили в ректорат. Вскоре меня пригласил к себе заместитель ректора по научной работе. Он объяснил, что получил письма от высокоуважаемых академиков, посоветовался с председателем профсоюзного комитета и узнал, что единственное, что он сможет сделать, это повысить мой оклад на 7 рублей — я пожал плечами. Он спросил: «Что Вы предлагаете?» Я смог только ответить, что хотел бы узнать его предположения.

* * *

Во время работы в архиве и в библиотеке я решил серьезно заняться иностранными языками и прежде всего принялся за немецкий. В университете я только использовал некоторые статьи и монографии по моей специальности. Теперь же я взялся за художественную литературу. Мой метод заключался в том, чтобы не прибегать к словарям: они дают всегда лишь крайне ограниченный круг значений. Когда же читаешь хорошую литературу, узнаешь слова в их всевозможных контекстах и значениях,



Матвей Александрович Гуковский,
зав. кафедрой истории средних
веков (из собрания фотографий
И. Х. Черняка)

какие не дают даже самые основательные словари. Впрочем, были к этому и другие причины: читал я, как правило, в транспорте. При работе за столом приходилось заниматься собственно научной работой: там уж, конечно, без обращения к словарям было не обойтись.

Читал я во время поездок на работу, они занимали по полтора часа в один конец. Как когда-то пошутил М. А. Гуковский, используя известное выражение *in pede apostolorum*, я читаю книги *in gotula autobusorum*, или в электричках во время поездок на дачу. Книги я выбирал только те, которые к тому времени не были переведены на русский язык. Сперва это были романы Лиона Фейхтвангера, которые тогда хоть и не были под запретом, как в сталинские годы, их даже можно было купить в книжных магазинах «стран народной демократии», но их русские переводы появились позднее. Так, я прочитал «Лисы в винограднике», «Еврейка из Толедо», «Иеффай и его дочь», книгу о Руссо, последний том трилогии об Иосифе Флавии. Потом пришла очередь Эриха Марии Ремарка. «Триумфальную арку» я читал в Публичной

библиотеке. Когда через несколько лет появился ее перевод, мне показалось неверным передавать имя главного героя как Равик; я до сих пор убежден, что поскольку он был эмигрантом из Восточной Европы, его имя *Ravic* следует по-русски передавать как Равич. Читал я «Ночь в Лиссабоне», «Обелиск». Потом появились книги Генриха Белля, пьесы и рассказы Вольфганга Борхерта.

Кафку я обнаружил в библиотеке Пушкинского Дома. Там были три его романа, сборники рассказов. В 1967 г. у меня дома появился «Процесс»; мне подарил его кто-то из друзей. В 1970 г. мне удалось получить у одного своего сослуживца «Замок» Кафки в обмен на русское издание Альбера Камю. Обе эти книги оказались среди тех немногих, что пересекли со мной океан. В те же годы я купил изданную в Чехословакии книгу о «Кафке в Праге», тоже на немецком языке. Помимо прекрасных фотографий и документов, меня поразила приведенное там высказывание (возможно, из Талмуда). Некто спрашивает Учителя: «Как может такой большой человек поместиться в таком маленьком слове?», и получает ответ: «Если кто думает, что он больше Слова, с ним нам не о чем говорить».

Однако, когда я попробовал взяться за романы Томаса Манна («Доктор Фаустус» и «Иосиф и его братья»), оказалось, что моя «система» не работает. Я объяснил это тем, что его язык уходит в глубокую толщу немецкого языка, в отличие, скажем, от Фейхт-



М. А. Гуковский
(зав. Библиотекой Эрмитажа)
в залах Эрмитажа
(из собраний И. Х. Черняка)

вангера, который довольствовался его сравнительно поверхностным слоем. Однако по-немецки я так и не заговорил.

Новые французские книги я обнаружил в библиотеке Пушкинского Дома: оказалось, что какой-то русский эмигрант, живший в Финляндии, присылал туда романы, сценарии и драмы Ж. П. Сартра, Альбера Камю. Мой университетский приятель Георгий Александрович снабжал меня книгами Жана Ануя, потом и Э. Ионеску; от него же я получил и французский перевод романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» (английский текст был мне тогда недоступен). Когда появился его русский перевод, я обнаружил в нем множество пропусков, они касались Андре Марти, Долорес Ибаррури, персонажа, под которым угадывался М. Кольцов. И я, как позднее Иосиф Бродский, узнал впервые имя Джона Донна из эпиграфа к этому роману.

Стали приезжать в СССР французские театры; я был на представлении «Федры» (как было не вспомнить Мандельштама: «Я не увижу знаменитой Федры»); затем с трудом у входа в Дом культуры промкооперации раздобыл контрамарку, без указания места, на пьесу Жана Жироду «Троянской войны не будет», устроился на прикладном месте в первых рядах партера, капельдинерша отнеслась ко мне покровительственно, но сгоняла с приставных мест молодых людей. Еще был на «Жаворонке» Жана Ануя. В театр я брал с собой книги и по ним старался следить за текстом. К сожалению, я не запомнил имен приезжавших в Ленинград французских актеров.

Мои французские друзья мне подарили несколько книг Хорхе Луиса Борхеса. Помню, что я пытался расспрашивать о нем Г. В. Степанова, специалиста по испанскому языку Латинской Америки; меня поразило, что он тогда еще не знал этого имени. Когда мне попался какой-то сборник, включавший итальянский перевод новеллы Борхеса «Тайное чудо», я даже решился перевести его (для себя), и потом, при чтении профессионального русского перевода, мне показалось, что некоторые фразы я передал лучше.

Но особое место занимал итальянский язык. Я читал классиков, Макиавелли, Гольдони, Гоцци — вот только знаменитый роман А. Мандзони «Обрученные» у меня никак не пошел, я не смог его осилить, ни в оригинале, ни в русском переводе. Другое дело — «веристы» (южно-итальянский вариант реализма) конца XIX — начала XX в., особенно Джованни Верга и Сальваторе Ди Джакомо, его «Неаполитанские новеллы» я перечитывал много раз: А. Н. Немилов подарил мне оказавшийся у него дома экземпляр.

Со временем я стал получать книги новых итальянцев. Более всех меня поразили рассказы Чезаре Павезе; «для себя» я перевел один его небольшой рассказ. Потом наступила очередь Итало Кальвино (особенно его трилогия — «Несуществующий рыцарь», «Разрубленный виконт» и «Барон на дереве»), я читал романы Альберто Моравиа, Джорджо Бассани, «Татарскую пустыню» Дино Буццати.

Появился в поле моего зрения и Курцио Малапарте. Правда, я не знал его политическую книгу «Техника государственного переворота», так заинтересовавшую участников «Всероссийского христианского союза освобождения народа». Мои главные книги Малапарте были «Капут» и «Кожа»; может быть, ее название («La pelle») следовало переводить «Шкура»? Помню, как я долго ждал в букинистическом отделе «Академкниги», как какой-то покупатель рассматривал книгу Малапарте, надеясь, что он ее не купит, но он в конце концов дал продавцу себя уговорить. И все-таки обе эти книги у меня оказались. Эти романы о Второй мировой войне с их невероятным, утрированным, почти мистическим *как бы реализмом* остались у меня в памяти навсегда. Отрывок из «Шкуры» («Феб», про собаку, из главы «Черный ветер») я перевел. Потом пришла очередь «Проклятых тосканцев». Незадолго до отъезда в США я выступил на

заседании итальянской группы при Отделении истории Академии наук с докладом о ренессансных корнях и мотивах в книге «Maledetti toscani». Когда в Бостоне я писал статью об историке философии Бруно Нарди, я был рад отметить, что он прекрасно знает Малапарте и себя причисляет к этому «проклятому» племени.

* * *

Я, естественно, не пишу о прочитанных русских книгах — в этом отношении мы развивались как вся русская интеллигенция, что-то я читал раньше, что-то попадало к нам в руки позднее. Но об одной книге следует сказать. В начале 60-х годов я работал в Отделе рукописей Ленинской библиотеки, читал манускрипт Томмазо Кампалеллы и знаменитый «Московский кодекс» Джордано Бруно. Главная его часть была опубликована в III томе его латинских сочинений; я пытался разобрать написанные им самим произведения и прочесть черновик прошения Дж. Бруно во Франкфуртский сенат о разрешении ему остаться в городе (в чем ему было отказано). Даже в III томе сочинений текст был приведен с большими лакунами. Какие-то фразы я сумел прочесть, но полностью он мне никак не давался. Работать приходилось по вечерам. Когда начальство ушло, ко мне обратилась сотрудница Отдела Алла Панина (мы познакомились с ней в Ленинграде) и предложила мне прочитать хранящуюся в их отделе рукопись «Мастера и Маргариты» М. А. Булгакова. Три вечера я читал роман, и сразу же, под сильным впечатлением и стараясь сохранить не только сюжетные ходы, но и стилистику книги, отправлялся к своим московским друзьям и как мог пересказывал им только что прочитанные главы. Через несколько лет роман Булгакова был напечатан в журнале «Москва» с большими купюрами, с пропуском целых глав и даже отдельных выражений и слов, я сразу же отметил эти места. Когда же в итальянском издательстве Эйнауди вышла книжка, специально приводящая все эти опущенные фрагменты (она оказалась у одного моего приятеля), я увидел, что моя память их точно сохранила.

Мне могут ответить: какое все это имеет отношение к моим историческим занятиям: в конце концов все читали книги, ходили в музеи, в театры и на концерты. Но я пытаюсь рассказать о моей *школе*. Она заключалась и в этом чтении и формировала меня как историка. Помогали не только исторические романы об античности, средневековье и Французской революции. Как не вспомнить о прекрасном переводе Бенедикта Лившица романа А. Франса «Боги жаждут», прочитанного в студенческие годы. Он открыл для меня характер якобинской диктатуры и многое помог понять в нашей действительности. О трагической судьбе Б. К. Лившица я узнал много позднее, но составленные в его переводах антологии французской поэзии странным образом не попали в «спецхран». Эти книги влияли на мое мировоззрение именно как историка и заставляли искать пути вне официальных тупиков исторической науки.

В 1964 г., благодаря содействию нашего соседа по дому Сергея Беляева, в нашем доме появились стажеры из Франции Жан Марк Бордые и его жена Анн. Жан Марк рассказывал о своем споре с Ефимом Григорьевичем Эткиндо; тот утверждал, что можно переводить русские стихи с сохранением рифмы и подходящего размера, Жан Марк отстаивал нынешнюю переводческую практику, когда перевод принимал очертания обычного подстрочника. Но вернувшись к себе, он вдруг решил проверить утверждения своего оппонента и стал переводить русских поэтов «нормальными» стихами. Первых его опытов я не помню, но при всяком приезде в Ленинград он знакомил меня со своими переводами, хотя нигде их не печатал. Его собственные стихи «Lama Sabachthani» (слова Иисуса на кресте: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил» — Мф. 27, 46; Мк. 15.34) были опубликованы в лучшем француз-

ском литературном журнале «La nouvelle Revue Française» в 1966 г. В начале 1993 г. он, по договоренности с Сергеем Михайловичем Некрасовым, директором музея А. С. Пушкина, устроил вечер своих переводов; меня он пригласил, чтобы я читал стихи русских поэтов, а он после этого свои французские переводы. Это была наша последняя встреча с Жан Марком. Портрет Ж. М. Бордье, написанный моей сестрой (Элиной Горфункель), был принят на хранение в фонды Музея А. С. Пушкина. После смерти Жан Марка его архив оказался у Анн Мисслен (Бордье). Она прислала мне перевод стихотворения Осипа Мандельштама «На страшной высоте блуждающий огонь...»: «Effroyablement haut erre ce feu follet / Une étoile ne peut briller de cette lueur / Étoile translucide, vagabond feu follet, — и поскольку последняя строка каждой строфы («Твой брат, Петрополь, умирает»), с учетом, что по-французски название города должно быть женского рода, звучит: «Ta soeur Petropolis, Petropolis se meurt». Пока Анн не нашла возможности издать эти переводы.

Потом в нашем доме появились две стажерки из Франции, Гилен Лимон-Иванов (ее отец был родом из Литвы, погиб во время войны в Алжире) и Анн Мари Боттон. Гилен — сравнительно высокого роста, со светлыми глазами, сдержанная. Анн Мари — брюнетка (из семьи французских евреев), дружелюбная, легко сходявшаяся с людьми, имевшая массу знакомых. Потом мы узнали, что обе они приняли православие. Они занимались изучением русской поэзии, Цветаевой и Мандельштамом. Обе хорошо говорили по-русски и пользовались возможностью улучшить свою русскую речь. Наше знакомство сохранилось на долгие годы. Они преподавали русский язык в лицеях и часто приезжали в Россию с группами школьников.

В эти же годы мы познакомились с Эдит Шеррер (урожденной Ривьер), которая помогла мне научиться связной французской речи. Она пришла ко мне в отдел, и я попытался рассказать ей (по-французски) о своих занятиях. Она терпеливо выслушала меня, умеренно похвалила, сделала несколько замечаний; вот только исправить мое произношение ей вряд ли удалось (я объяснял это отсутствием у меня музыкального слуха). Дальнейшие занятия происходили у нас дома по принципу «ланкарточных взаимных обучений»: она обучала меня французскому языку, я помогал ей в овладении русским. Впрочем, Эдит уже к тому времени очень неплохо говорила по-русски. Она еще не раз приезжала в Ленинград, а наша переписка продолжалась более 30 лет. Благодаря этим урокам, когда я оказался во Франции, я сумел не только говорить, но, что не менее важно, понимать обращенную ко мне речь.

В переводах Эдит Шеррер появились в издательстве «Плеяда» произведения М. А. Булгакова (я помогал ей разбираться в реалиях советской жизни 20–30 гг.) и И. С. Тургенева. У нее дома были собраны все лучшие русские словари, начиная с В. И. Даля, ей удалось купить и отправить во Францию Энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона (тогда это еще разрешалось). Из задаваемых мне вопросов я запомнил один: в рассказе классика слуга говорит: «И сидит он тут словно *кетик* какой-то». Помочь ей я не смог: в словаре Института Русского языка была карточка со словом «кетик» со ссылкой на И. С. Тургенева, но безо всякого объяснения, не помогли и консультации со знакомыми лингвистами. Я называл Эдит картезианкой; в ее складе ума сквозила классическая нота.

Очень важным было для меня овладение итальянским языком. Поначалу говорить было не с кем, и помню, что я начал говорить по-итальянски во сне. Я пользовался всяким случаем услышать итальянскую речь. Мне приходилось заговаривать со случайными туристами. Помню, как один из них заинтересовался моим мнением о высылке из СССР А. И. Солженицына: едва услышав это имя, рядом с нами оказался сопрово-

ждающий группу; я только и успел высказать свое мнение о действиях властей, после чего предпочел исчезнуть от ока слишком бдительного наблюдателя.

Помню, как к нам домой пришел итальянский исследователь, звали его Чезаре Де Микелис, он был однофамильцем знаменитого ученого слависта, но занимался историей издателя XVIII в. Антонио Калоджеро, чей архив хранится в Отделе рукописей ГПБ. Мы познакомились в Публичной библиотеке. Он жил в Ленинградском Доме ученых. Там не было душа, а как пройти в ближайшую баню, ему никто не объяснил, и он пришел не только для беседы, но и напросился помыться. Я с ужасом увидел, что из ванной комнаты вышел, отряхиваясь, наш котенок. Но гость только смеялся: это прекрасное животное не могло замутить воду, настолько сам он был грязный после длительного проживания в роскошном номере.

Но главным моим учителем оказался стажер из Венецианского университета Рэмо Факкани, в 1965–1966 гг. Он занимался историей русского формализма, собирал материалы для сборника статей ученых Тартуско-Московской школы (опубликованных им в книге совместно с Умберто Эко). Познакомились мы с ним, как обычно, в библиотеке, он стал часто бывать у нас дома. Он глубоко заинтересовался современной (неофициальной) русской поэзией. Помню, как мы шли по льду от университета до Сенатской площади, и Рэмо сказал мне: «Devo andare alla “Березка” per comprare la vodka per una вечеринка» — «Я зайду в “Березку” [магазин для иностранцев, где можно было покупать за валюту вина и закуски — А. Г.], чтобы купить водку для вечеринки». На одной из таких «вечеринок» Рэмо познакомился с Владимиром Эрлем и услышал стихи Леонида Аронсона, иные из которых он впоследствии опубликовал в оригинале и в своем переводе.

Мы много лет переписывались с Рэмо Факкани, сохранили наши добрые отношения до сих пор. Когда мне удалось попасть в Италию, я смог слушать и понимать итальянскую речь, читать лекции и выступать с докладами. Правда, разговоры на улицах и в поездах, когда люди общались всякий раз на своем, различном для каждой области, диалекте, я понимал с трудом, а чаще и вовсе не воспринимал.

* * *

Осенью 1978 г. к нам в дом пришли Гилен Лимон-Иванов и Анн Мари Боттон, как всегда, они привезли в Ленинград своих учеников из лионских лицеев. Мы только что вернулись из отпуска, в доме было хоть шаром покати, денег тоже не оказалось даже в сберкассе, а надо было как-то принять дорогих гостей. Помогли собранные и засушенные на даче грибы и еще что-то из домашней снеди. Получился неплохой обед. Во время разговора моя жена сказала, как бы мы хотели побывать во Франции: «Мне кажется, что теперь это может получиться». Гилен и Анн Мари охотно ее поддержали.

Наши ленинградские друзья объясняли нам, что мы поступаем неправильно: мы никогда не были за границей, и нельзя было сразу отправляться в капиталистическую страну, надо было сперва поехать (с туристической группой) в какую-нибудь из стран «народной демократии», например, в Болгарию. Я отвечал, что очень хорошо отношусь к Болгарии, но меня интересует Франция.

Вскоре французские друзья прислали нам приглашение. Началось достаточно сложное оформление нашей поездки. У моей жены все прошло легко: в Союзе художников быстро подготовили необходимые бумаги. Не то было у меня в университете. Мне пришлось пройти аж 6 инстанций. На самой большой комиссии, где заседали члены партийно-профсоюзно-административной верхушки (их набралось чуть ли не сто человек), мне задали вопрос, каких политических взглядов придерживаются наши

французские знакомые. Я ответил, что у них не принято спрашивать, за кого они голосуют на выборах, но что это люди глубоко интересующиеся русской культурой, в чем мне не пришлось кривить душой (боюсь, что имена М. Цветаевой и О. Мандельштама вызвали бы иную реакцию: издание их книг в «Библиотеке поэта» считалось «грубой идеологической ошибкой»). Кажется, в университете это был крайне редкий случай, когда во Францию ехал человек по личному приглашению (возможно, такие были среди профессоров и академиков, но не среди рядовых сотрудников). Потом мой приятель, Вадим Александрович Зубков, работавший в ректорате, сказал, что мне сильно повезло: заведующий отделом кадров С. И. Катькало был болен: «Уж он тебя бы точно не пропустил».

Из прочих инстанций мне запомнился только один случай: дама, которая «вела» мое дело, заинтересовалась: как же я еду по приглашению француженки (видимо, в ее воображении возникли картины разврата). Я намека не понял и объяснил, что пригласившие нас с женой друзья освобождают для нас квартиру, а сами будут жить над нами этажом выше; тут дама искренне обрадовалась: значит, я еду с женой! Когда надо было оформлять документы во Французском консульстве, наши друзья и тут нам помогли: у них там оказались какие-то знакомства.

В конце августа 1979 г. мы отправились в Париж. На Варшавском вокзале нас провожали друзья: Яков Леонидович Бутовский с Натальей Яковлевной, Илья Хацкелевич Черняк с Татьяной Николаевной, Николай Иванович и Сергей Иванович Николаевы. Дорога в поезде заняла почти полтора дня.

Самое неприятное впечатление оставили ГДРовские пограничники: при пересечении границ, особенно когда мы проезжали Западный Берлин, они тщательно проверяли всех пассажиров; жена уже спала, они ее будили и освещали фонариком лицо.

Утром мы проехали по северной Германии (ФРГ) и меня поразили огромные заводские дворы (был воскресный день): в них не было ни соринки. К вечеру мы прибыли в Париж. Нас должна была встречать моя школьная подруга, А. А. Соломонова: ее в этот раз неожиданно в первый раз выпустили во Францию. Она преподавала французский язык в одной из лучших московских школ. Возможно, это было связано с каким-то потеплением в дипломатических отношениях и лично с президентом Франции Ж. Помпиду. Потом мы узнали, что в это же время пустили во Францию замечательного грузинского режиссера Отара Иоселиани, которому прежде такие поездки были заказаны; после этого свои фильмы он снимал во Франции.

Мы выгрузили чемоданы из вагона, но нас никто не встретил. Решили подождать, Адрес квартиры, в которой остановилась Ася Соломонова, у меня был, так что в случае чего мы могли бы добраться на такси. Мы прождали около получаса, на перроне никого не было, наконец, встречавшие нас появились: Ася и ее парижский приятель, школьный учитель Ив. Они погрузили нас в его машину, и он решил сразу же показать нам ночной Париж: Собор Парижской Богоматери, Лувр, Елисейские поля, Эйфелева башня, Триумфальные ворота, Монмартр, Площадь Согласия, Вандомская колонна — все, что мы увидели в этот первый вечер, было до боли знакомо. Когда позднее новые французские приятели спросили меня, что меня более всего поразило в Париже, я ответил: «Что все это действительно существует!»

В конце концов мы оказались у Итальянских ворот. Хозяйка квартиры, известная переводчица Эв Мальрэ, которая, по словам Е. Г. Эткинда, открыла французам поэзию Марины Цветаевой, была в это время в России. Стоило мне проснуться на следующее утро (а поселили нас в кабинете-библиотеке), как я оказался в обществе книг русского «Тамиздата». Я чуть было не погрузился в чтение, но для этого не было

времени, на книги оставались ночные часы. Я прочитал тогда «Архипелаг Гулаг» и «Ленин в Цюрихе» А. И. Солженицына, просмотрел издания русской зарубежной периодики. Но основное время было посвящено прогулкам по городу. За те две с небольшим недели, которые у нас занял Париж, мы старались узнать и увидеть этот великолепный город.

Правда, до Эйфелевой башни мы так и не добрались, видели ее издали, и этого нам хватило. Я не мог бы сказать, как Максимилиан Волошин, что люблю бывать на Эйфелевой башне, т. к. это единственное место, где ее не видно. Она вполне вписалась в картину современного Парижа, но добираться до верхних ярусов у нас не хватило ни времени, ни сил. Тем более, что тот Париж, который нас интересовал, находился в пределах пешего хода: от Монмартра до Монпарнаса, от Дома Инвалидов до Марэ и Площади Бастилии: последние две недели мы жили в самом центре города.

В четверг, неподалеку от нашего дома, устраивали рынок; меня послали купить что-то для обеда. Рынок был небольшой, прилавки были устроены в несколько рядов метров на тридцать. Я купил то, о чем меня просила Ася, но меня заинтересовали сыры, я было начал их считать, но однако после четвертого десятка сбился. Потом мне подарили книгу с описанием французских сыров, с сотнями названий. Де Голлю приписывали фразу: «Попробуйте управлять страной, в которой производят больше сыров, чем дней в году!»

Ася говорила по-французски так, что никто не мог заподозрить в ней иностранку. В московском институте у них была великолепная преподавательница, Мария Васильевна Шубендорф (это фамилия ее мужа). Она долго жила во Франции, играла в оперетте, вела у них фонетику на первом курсе (1947–1948 гг.). Но институтское начальство потребовало от нее сдать экзамены, в том числе и по марксизму-ленинизму. Она ушла из института и жила частными уроками. После нее пришли какие-то дипломированные дамы, слушать их было невозможно, и студенты на их лекциях играли в «морской бой». Но и этого курса оказалось достаточно. Однажды я слышал, как Ася разговорилась с деревенской женщиной, та поделилась с ней рассказом о своей горестной судьбе.

В первые дни мы побывали у памятника Мишелю Монтеню, недалеко от Сорбонны. Я запомнил и записал надпись: «Париж — душа моего детства. Я француз — только благодаря этому великому городу, великому и несравненному в многообразии славы Франции и одному из главных украшений мира» — «Paris mon coeur de mon enfance. Ye ne suis Francais que par cette grande ville, grande surtout et incomparable in la gloire de la France et l'un des plus nobles ornements du monde» (в редакции перевода мне помогла А. А. Соломонова).

Неподалеку мы увидели подаренную городу Парижу от Рима копию статуи волчицы с Ромулом и Ремом. Я зашел и в Сорбонну (занятия еще не начинались), где просмотрел расписание интересующих меня лекций по средневековой истории и философии.

Едва ли не самым сильным впечатлением первых дней в Париже был Музей средневекового искусства Клюни. Там были собраны скульптурные портреты французских королей, когда-то сброшенные из собора Парижской Богородицы; к нашему удивлению они сохранили следы раскраски.

Поразило огромное собрание испано-мавританской керамики, в нем были представлены все виды изделий. Мы увидели нидерландские резные алтари, готическую скульптуру — памятники материальной и духовной жизни Средневековья.

Но главным были гобелены. Трехчастный ковер 1500 г. «Житие Св. Этьена» (Брюссель), «Барская жизнь» (1500–1525, Нидерланды): «Дамы заняты вышиванием», «Пение», «Прогулка», «Купание», «Отправление на охоту» (шестого ковра не

было на месте). И, наконец, в большом круглом зале мы смогли увидеть шестичастный цикл «Дама с Единорогом», о котором много слышали и читали и к которому давно стремились. Это оказалось важнейшим событием не только в Музее Клуни, но и во всей нашей поездке во Францию. Мы провели там несколько часов, несколько раз пытались уйти, но «Дама с Единорогом» возвращала нас к себе своей францисканской любовью к миру природы. После возвращения в Ленинград моя жена опубликовала в журнале «Декоративное искусство» посвященную «Даме с Единорогом» статью «Очарование мильфлера».

Два раза мы побывали в Лувре (позднее, когда мы жили в центре города, мы ходили туда почти ежедневно). Когда мы поднимались по лестнице и перед нами открылась Ника Самофракийская, моя жена первый раз в жизни попросила у меня валидол.

27 августа мы пошли в гости к Иву, школьному учителю, который встречал нас на вокзале и показывал нам ночной Париж. Он жил где-то на Монмартре. Ася спрашивала дорогу, мы поплутали и, наконец, добрались до нужного дома. Во дворе восточного вида люди играли в пинг-понг. В нижнем этаже находился японский ресторан. По деревянной лестнице мы поднялись на четвертый этаж. Ив встретил нас. В квартире две небольшие комнаты. Ив живет вместе со своим другом, мексиканцем Игнасио, зубным врачом, приехавшим в Париж ради усовершенствования своего французского языка. Здесь он работал в ювелирной лавке, собирал ожерелья, показывал нам изделия из перламутра. Мы были званы на «мексиканский обед», Игнасио приготовил курицу с соусом, к питью подавали соленые орешки.

В последний день нашего первого пребывания в Париже мы посетили бывший римский амфитеатр, *Arene de Lutèce*. Труппа под названием «Театр Молодой Луны» (возможно, это название следует переводить как «Театр Новолуния») поставила отрывки из пьес Мольера. Чем-то это напоминало итальянский театр масок; спектакль сопровождался рассказом о судьбе писателя.

Но время поджимало: наши друзья звонили нам из Лиона, просили, чтобы мы приехали как можно скорее: слишком мало времени оставалось до начала учебного года и для поездки на юг Франции.

31 августа с Лионского вокзала мы отправились на поезде. В купе нас было 8 человек. Старик с книгой сильно напоминал аббата Жерома Куаньяра из романов Анатоля Франса. А за окном разворачивались барбизонские пейзажи.

В Лионе первый раз мы были недолго: нас ждало путешествие по югу Франции. На машине наших друзей мы с Гилен и Анн Мари (позднее мы узнали, что их так и называли «*deux inseparables*» — «неразлучные друзья») отправились в поездку. В Монпелье мы должны были побывать у матушки Гилен и познакомиться с семейством брата Гилен. В первый же вечер мы были в ресторане, где служит ее брат, Серж, или Сергей Михайлович. Серж было приобрел магазин фотоматериалов, но его вскоре задушили конкуренты: в больших магазинах те же товары продавали по цене, которую он платил своим поставщикам. Он с гордостью носил небольшую бородку: ему казалось, что она напоминает императора Николая II, и сына назвал именем покойного императора.

В Монпелье мне запомнился университет, в котором учился Франсуа Рабле (к этому времени мои французские друзья подарили мне новое издание его сочинений с отличными комментариями, и я пытался освоить французский язык XVI в.). Мы обошли и ту часть города, которая была построена во времена Людовика XIV: посмотрели акведук, водонапорную башню в виде античного храма, Триумфальную арку, статую Короля-Солнца. Потом нас отвезли в Магеллон, где мы посетили романский храм Св. Петра.

Средиземное море от Монпелье всего в 12 км, и нам довелось в нем окунуться. Роза помогала Никола, племяннику Гилен, собирать ракушки на берегу моря.

Дальнейший путь проходил по юго-востоку Франции — от Монпелье до Экс-ан-Прованс. Первым был Авиньон. Мы внимательно обошли папский дворец с великолепно сохранившимися фресками и гобеленами. По дворцу нас водил очень симпатичный гид Доменико ди Мельо, судя по имени — итальянец; когда моя жена сказала ему, что она работает в Эрмитаже, он с трудом пытался вспомнить, что это такое, и решил, что это «где-то в Польше». Увидели мы и знаменитый Авиньонский мост через Рону, разрушенный в XVII в. и лишь одним крылом (четырьмя аркадами из прежних 29) ведущий в никуда. Мы знали о нем по знаменитой песне в исполнении Эдит Пиаф.

В Ниме мы увидели Maison Carpe, храм, посвященный внукам Октавиана Августа, ставший музеем галло-римского искусства; впоследствии я вспомнил его, когда увидел в Армении сходную римскую постройку. В амфитеатре, судя по афишам, регулярно проходила коррида. Инна Сергеевна Немилова рассказывала мне о своей встрече с Пабло Пикассо во время корриды; она упомянула его работы, хранящиеся в Эрмитаже, но он махнул рукой: «Ну, это старье. Но вы посмотрите, какой молодец!», показав ей на происходящее на арене. Увидели мы и созданный во времена Людовика XIV «Нимский Версаль».

В Арль мы выехали с утра, проехали примерно 80 км, прибыли днем. Пошли искать музей — он расположен в готическом здании, в бывшем приорате Мальтийского ордена. Собрание старых картин там невелико, XIX в. представлен крайне слабо. Музей назван по имени своего создателя художника Жака Реаттю (1760–1833) и был открыт после его смерти, в 1868 г. Произведений Реаттю я не запомнил. Зато там была открыта выставка работ Пабло Пикассо, подаренных им музею. Представлена была современная керамика, шпалеры Жана Люрса и очень интересные работы фотографов.

После ужина в ресторанчике мы пошли гулять по вечернему Арлю. По узеньким улочкам спускались до скал, на которых были возведены городские стены. Устроились в гостинице, не очень удобной и сравнительно дорогой. Проснулись рано утром, пошли бродить по городу, посмотрели большую, с римских времен, арену, способную вместить до 26000 зрителей, где и сейчас устраиваются корриды. Нашли небольшое кафе напротив антикварного магазина. По этим улицам ходили Ван Гог, Гоген, Пикассо. Сильное впечатление оставила романская церковь Св. Трофима. Из Арля мы отправились в Сен-Реми. Извилистая дорога шла по горам, видны обрывы, провалы, где-то внизу — крыши домов, покрытых красной черепицей; с другой стороны кручи скал, входы в древние монастыри. Потом едем длинной дорогой, приближаемся к стеле с медальоном Ван Гога (работы Осипа Цадкина). Художник прожил здесь, в больнице, один год, с мая 1889 г. по май 1890 г. Каждый день его жизни в Сен-Реми отмечен живописными работами и письмами. Гилен вела нас вниз, через небольшой дворик: открытая дверь в маленькую комнату, окно без рамы — вроде бы здесь жил Ван Гог; место заброшенное... Когда он покинул Сен-Реми, жить ему осталось два месяца.

Мы не миновали и знаменитый Пон-дю-Гар — римский мост с красивыми аркадами, по которому и ныне идут пешеходы и проезжают автомобили. С памятниками (по Фоменко никогда не существовавшей) античности нам еще предстояло встретиться в Лионе и Париже, позднее — в Италии и Израиле.

Когда мы проезжали по Провансу, меня поразили деревенские дороги — они были очень удобны, обсажены деревьями (сплошные платановые коридоры), через них были видны строгие ряды виноградников, а попадавшиеся нам деревни поражали ухоженностью и чистотой. Позднее, говоря с французами, я им объяснил, что именно эти дороги

вызвали у меня наибольшее восхищение, а не национальные дороги (в США их называли бы «хайвеями») с их прекрасными асфальтовыми покрытиями, широкими пространствами, допускавшими быстрое движение машин.

В Экс-ан-Прованс мы приехали 7 сентября во второй половине дня. Наши друзья отправились искать гостиницу и сняли недорогие, но вполне удобные номера, лучше, чем в Арле. Наш номер — под крышей, из окна мы видели ажурную колокольню. Узенькие улочки ведут к центру города, к украшенной платанами и открытой для пешеходов широкой аллее «Cours Mirabeau». Она начиналась круглой площадью с чашей фонтана в центре, за ней идут ряды фонтанов, и завершается она статуей короля Ренэ, знакомого с детства, по опере П. И. Чайковского «Иоланта», а затем по рукописям, хранящимся в Публичной библиотеке; с ними меня в свое время познакомил Е. В. Бернадская. Правая сторона, отделенная деревьями — тихая, деловая, там находятся какие-то учреждения и банки. А главные магазины и кафе идут по левой части. Здесь мы увидели троих красивых парней, приплясывающих, темпераментно поющих то ли бразильские, то ли мексиканские песни. А за ними следовал какой-то клошар, который своими движениями оттенял их молодость и красоту. Певцы переходили от одного кафе к другому, от статуи короля Ренэ до Ротонды с главным фонтаном.

В последующие дни мы много бродили по городу. Гилен показала нам дом, где она жила, когда начала учебу в университете Экса. Мы шли по площади с ратушей и башней с часами, оказались в храмах и в музеях города, в том числе в приорате Мальтийского ордена, где разместились одна из картинных галерей. Запомнился триптих замечательного провансальского живописца Никола Фромана «Пылающая купина» (ок. 1476 г.) в кафедральном соборе Христа Спасителя (Saint-Sauveur). Там же поразили резные готические врата.

Нам удалось побывать на службе в церкви Св. Иоанна Мальтийского. К сожалению Музей изящных искусств был закрыт на ремонт и познакомиться с его коллекциями мы не смогли.

В один из дней мы посетили мастерскую Поля Сезанна. Этого художника ценят и помнят в Эксе. На «дороге Сезанна» — рельеф работы Осипа Цадкина. Гора St. Victoire господствует над Экс-ан-Прованс, она видна и из мастерской художника. Мы знали ее по многочисленным репродукциям пейзажей Сезанна, одно ее изображение находится в Эрмитаже.

На обратном пути в Лион мы оказались в местах, освященных именем Франческо Петрарки — в Fontaine-de-Vaucluse, где прямо из-под скалы вытекала огромным водопадом река Сорга. Показывали нам и дом, в котором предположительно жил поэт.

Не менее важным было восхождение на гору Монванту, на которую в свое время поднимался Франческо Петрарка, за что был кем-то назван предшественником современного туризма и даже альпинизма. Определение это сомнительно: на вершине горы поэт не только любовался на открывшийся перед ним вид, но и размышлял о Божественном величии. Перед началом пути наши друзья очень устали и решили отдохнуть в машине. А мы пошли пешком оставшиеся 14 километров. Дорога была совсем иная, чем во времена Петрарки: мы шли по асфальтовому шоссе, огибавшему гору. Ближе к концу пути нас прихватила с собой машина с немецкими туристами; ехать было страшновато: виднелись крутые обвалы и пропасти. С вершины горы мы смотрели на городки, деревни и виноградники, открывшиеся внизу, на отдаленные горы; вот только увидеть море мы не смогли: был яркий солнечный свет и вместе с тем легкий туман. Похоже, что в те времена я оказался единственным русским итальянистом, побывавшем на Монванту. Обратном же мы тоже были пешком, но нас подобрала студентка

в довезли нас до места, где мы оставили наших друзей. Они поехали искать нас на вершине горы. Вскоре они вернулись.

Дорогу в Лион мы проделали за день и ночь, Гилен и Анн-Мари, чтобы та из них, кто была за рулем, не заснула, пели песни. В Лионе мы много ходили по городу, изучали старые кварталы, храм Св. Иоанна. Над городом возвышался огромный собор Фурвьерской Богоматери, возведенный в 1870-х гг., с эклектической архитектурой, украшенный аляповато, с удивительным безвкусием.

Зато нас очень заинтересовала новая церковь с необычной для храма модернистской архитектурой. Служба велась там на латинском языке: ее прихожанами были католики, не принявшие постановлений II Ватиканского собора о переводе служб на современный язык. Храм был украшен репродукциями русских икон, в том числе и «Троицы» Андрея Рублева, и гобеленами, также воспроизводившими православные иконы.

Мы заходили в Музей текстиля, которым когда-то славился Лион. Но самое сильное впечатление произвел археологический музей. Внутри высокого здания надо было подняться на лифте до верха и идти вниз по пологой дорожке, изучая галло-римскую экспозицию. Из окон музея открывался вид на раскопанный рядом римский амфитеатр.

До сих пор не могу понять, как меня угораздило не побывать в музее печати: Лион, не в меньшей степени чем Париж, славился своими изданиями XV–XVI вв.

Посетили мы и новый район Лиона («Par Dieu»), застроенный высоченными зданиями, где помещались крупнейшие банки. Когда я рассказывал о своей поездке в университетской библиотеке, я употребил по отношению к Лиону выражение «столица финансового капитала», которое вызвало у моих молодых слушателей недоумение, как образ из советской пропаганды. Но это было действительно так: там были главные банки Франции, названий их я не запомнил, кроме одного: «Лионский кредит».

Это был и культурный центр Лиона, там находился «Аудиториум» (Лионская филармония), где наши друзья слушали симфонические концерты. Неподалеку от него помещался восьмизэтажный корпус Лионской муниципальной библиотеки. Я не смог не подняться на верхний этаж, где помещался Отдел редких книг. Там я познакомился с первым изданием поэмы Марцелла Палингения «Зодиак жизни» (Венеция, вторая половина 1530-х гг.). Позднее, по моей просьбе, Эдит Шеррер прислала мне фотокопию этого издания, я и сейчас с ней работаю.

Ася Соломонова попросила меня передать привет лионскому жителю от ее московского приятеля; во время войны тот был партизаном во Франции и воевал с его старшим братом, погибшим в маки. У русского лионца была довольно необычная фамилия: «Иванов-Тринадцатый» — так записывали моряков-однофамильцев. Гилен и Анн-Мари не хотели иметь с ним дело: он, как и они, был православным, но принадлежал к крайне враждебной России Карловацкой церкви. Семья его жила на окраине Лиона; мы прибыли на метро, там он нас встретил на машине. Это был русский дом; матушка его была дочерью известного булочника Семенова. Мне показалось, что я знаю его магазин в Ленинграде. В доме сохранилась отличная русская речь. Сам хозяин родился уже в эмиграции. Он служил в банке (вот имя его я за давностью лет не запомнил; кажется, его звали Никитой). Он рассказывал о своей семье и сокрушался, что сын его женился на француженке.

Во всем остальном Иванов-Тринадцатый вел себя как типичный французский обыватель. Мы похвалили достопримечательности города Лиона, его архитектуру, музеи — он их не знал и просто не понял нас, и стал говорить о трудностях, какие он испытывает, доезжая до места работы. Метро его раздражало, оно для приезжих, у него была

машина. Он не переносил «понаехавших тут», всех этих негров, арабов, да и французов из провинции.

Во время беседы мы с его женой Лидой отошли в сторону покурить, и его разговоров с Розой я не слышал. Вдруг он обратился к жене: «Послушай, как зовут того жида?» Мне хотелось ответить, что жида зовут Андре. Но речь шла о ком-то другом.

Когда после ужина хозяин отвозил нас домой, он хвалил меня за мой русский язык и все осуждал каких-то других людей, приезжавших из России, которые, по его словам, очень плохо говорили по-русски. Я пытался их защитить: возможно, в их речи проскальзывали какие-то особенности местного говора. Позднее, когда я прислушался к выступлениям партийных лидеров (в частности, на собранном М. С. Горбачевым Съезде депутатов), я понял, что они говорили на своем собственном языке, не имеющем ничего общего с местными диалектами; скорее всего, именно таковы были приезжавшие с группами посетители Лиона.

Через несколько дней к Иванову-Тринадцатому из Парижа приехала Ася Соломонова, чтобы передать привет от своего московского приятеля (она совершала большое путешествие по Франции и должна была побывать у директора школы, которая привозила в Москву своих учеников). Принявший ее хозяин спросил: «А какая фамилия у Саши?» Ася ответила, он удивился: «Что за странная фамилия?», она сказала: «Да нет, обыкновенная еврейская фамилия». Иванов-Тринадцатый был глубоко огорчен. Я спросил Асю, объяснила ли она свое происхождение; она нашла, что это было бы слишком. А ее московский выговор был ею воспринят от ее няньки, бывшей московской купчихи.

После возвращения в Ленинград мы были у знакомых. Хозяин отчаянно ругал французов за их меркантилизм. Я взорвался: во время нашей поездки мы встречались с людьми разного достатка и положения, они ни в чем не отличались от таких же русских интеллигентов, похожи были даже их посиделки на кухне. Исключением был французский обыватель Иванов-Тринадцатый.

Мы не сразу смогли выехать из Лиона в Париж, наши друзья уже были связаны школьным расписанием.

В один из выходных дней мы отправились в Перуж, один из самых старых и отлично сохранившихся городов, с храмами и домами XIII–XV вв. Он окружен высокими стенами, его узенькие средневековые улочки были заполнены туристами, не иностранцами, а жителями Лиона. Они приехали сюда отдохнуть и поразвлечься. Мы ходили по городу, смотрели романские храмы и более поздние особняки, попали и в подвал, где нас угощали местным вином.

С Перужем связано одно из самых сильных впечатлений нашей поездки. Мы шли по узкой улочке и вдруг услышали несколько странный, но красивый звук. Приближаемся. Выходим на маленькую площадь. Толпа окружает певицу и ее спутника, художника, в белой рубашке, в кепочке, с тонкими приятными чертами лица. Он вертит ручку музыкального органа. Она же, черноволосая и черноглазая, похожая на цыганку, в цветастом платье, поет низким голосом бесконечную старую французскую песню-балладу, в которой есть все — любовь и смерть. Толпа в восторге. Так реагируют люди на что-то поистине близкое и родное. Дети приносят мелочь; она откликается: «Кажется, здесь только у детей и есть деньги?» Взрослые посылают франки... Мы сразу же влюбились в бродячих музыкантов. Стояли долго, оторвались от них с трудом. Позднее Гилен говорила нам, что слышала их пение на лионском базаре.

15 сентября мы с Анн Мари отправились в Париж. За нами приехало такси; я было попробовал положить наши вещи в багажник, но водитель удивился: «Месье,

Вы делаете мою работу». Перед этим была забастовка на железной дороге. Вагон был битком набит, место Анн Мари было занято и ей предложили проезд в первом классе.

На Лионском вокзале нас встретил улыбающийся молодой человек, Жан Паскаль, друг Анн Мари. Я везу тележку с багажом. Очередь на такси выстраивается у турникета. Полицейский руководит посадкой. Минут за 15–20 все прибывшие в Париж разъезжаются. Жан Паскаль добирается до «нашего» дома на мотоцикле.

Анн Мари заранее подготовила для нас пристанище. Это была небольшая комнатка (гарсоньерка) ее приятеля, Жана Пьера, который порой при поездках в Париж ночевал в доме своих друзей (сам он жил за городом). Анн Мари познакомила нас с консьержкой, у которой мы должны были получать и оставлять ключи от нашей комнаты.

Само здание когда-то принадлежало поэту и политическому деятелю Альфонсу Ламартину. На доме висела мемориальная доска, где сообщалось, что сюда 25 февраля 1848 г. пришел народ, и с этого балкона Ламартин произнес речь о трехцветном флаге Французской республики («sur le drapeau tricolore»).

Рядом находился дом, когда-то принадлежавший Ш. М. Талейрану, главе французской дипломатии при всех режимах, от Директории и Наполеона I до Людовика XVIII. Я хорошо знал его биографию по работе Е. В. Тарле, опубликованной в серии «Жизнь замечательных людей». О нем тоже упоминалось на мемориальной доске, рядом с которой висело объявление о продаже дома. Из нашего окна мы видели рабочих, ремонтировавших крышу. Смотреть на них было страшно: они легко переходили по доскам, нависающим над бездной. В шутку мы подумывали о том, чтобы купить особняк. Но в наше время я всерьез опасаясь, как бы этот памятник французской истории не попал в руки «новых русских».

Наш дом находился на углу Rue del Belchasse (Охотничьей) и Университетской улицы, которая вела в Латинский квартал. Хозяев дома мы почти не видели, как и они нас (один раз во дворе стояла дорогая машина). Жили мы в мансарде в узком помещении на седьмом этаже, куда подымались на лифте, с окном «на крыши Парижа». Кроме нас на этом чердаке жила женщина, в обязанности которой входили прогулки с хозяйской собакой, и еще какая-то семья, о чьих занятиях мы так и не узнали... Уборная и умывальник помещались в коридоре, но ни душа, ни ванной там не было. Мыться мы ходили в дом Эдит Шеррер, которая жила неподалеку. Позднее, перечитывая новеллы Проспера Мериме, я заметил, что его персонажи из «Двойной ошибки» вспоминали о своем детстве на улице Rue del Belchasse.¹

Анн Мари позаботилась о том, чтобы у нас был провожатый по пригородам Парижа, это был встречавший нас на Лионском вокзале аспирант Жан Паскаль. Она же помогла нам купить билеты на экскурсию по замкам Луары. В новый приезд в Париж мы много раз бывали в Лувре. Видели мы и зал Микельанджело (со статуями рабов), и залы итальянской живописи с Веронезе и «Моной Лизой». Мой отчет не может заменить прогулку по Лувру или даже хороший альбом. Зная, сколько лет заняло у меня многократное посещение Эрмитажа, я понимал, что даже несколько походов в Лувр позволили нам получить лишь самое первое впечатление о музее.

В Соборе Парижской Богоматери мы побывали несколько раз, в том числе и на службе. Потрясли нас и витражи в знаменитой Часовне (St. Chapelle). Нам повезло, погода была удачной, мы в основном бродили по городу пешком. Я ходил по набережным

¹ Мериме П. Избр. соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1956. С. 185, 187.

Сены с ее лотками букинистов. Приобрести у них ничего не удалось: не было денег, да и того, что меня бы специально заинтересовало, там не было.

Посетили мы и Центр Помпиду, с его вывороченными наизнанку трубами и лестницами. С верхних площадок открывался вид на Париж. В эти дни в Центре Помпиду была развернута выставка «Москва-Париж», русского и французского авангарда из французских и советских собраний, причем из России были представлены работы не только русских, но и французских мастеров, хранящихся в музеях Москвы и Ленинграда (из бывших собраний И. А. Морозова и С. И. Щукина). Франция показала работы не только своих соотечественников, но и русских художников, работавших в Париже. Впоследствии мы еще раз посмотрели эту выставку, когда она была привезена в Москву (правда, как кажется, с некоторыми утратами: что-то не пропустила советская цензура).

В Центре Помпиду устраивались концерты современной русской музыки, на один из них нам удалось попасть. Среди посетителей я увидел директора московского Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина И. А. Антонову; я был знаком с ней, т. к. выступал на Випперовских чтениях в музее, и раскланялся с ней, но она не ответила; возможно, предположила, что я оказался в Париже в качестве недавнего эмигранта (а может быть, и просто не узнала меня).

На площади выступали актеры, жонглеры, музыканты. Нам понравились абсолютно неподвижные фигуры, изображавшие статуи. Были там и силачи, разрывавшие цепи. Около Центра Помпиду мы единственный раз решились зайти в бар, где нас накормили совершенно «советским» обедом, какими-то засохшими макаронами с невкусной котлетой: явно сказывалось обилие туристов, которые и не то еще съедят, а во второй раз не обратятся. Обычно мы покупали в ближайшей булочной хлеб, молоко, сыр, овощи и фрукты, и утомившись в своих блужданиях по городу, устраивались поесть на ближайшей скамейке.

Рядом с «Les Halles» (бывшим «Чревом Парижа»), превращенным в огромный город со множеством торговых помещений, находился порнографический кинотеатр. Мы, естественно, туда и не собирались, а потом французские знакомые сказали, что такое посещение было бы крайне опасно: на забредшую («из любопытства») пару могли напасть постоянные посетители. Хозяева этого заведения откупались от полиции, и та не интересовалась, что там происходит. Не посещали мы и стриптиз; как нам сказали Гилен и Анн Мари, туда приходят только приезжие из глубокой провинции, а также туристы, в том числе из Германии и СССР. И, действительно, двое моих советских знакомых не пожалели на эти впечатления свою скудную туристскую валюту.

В Советское посольство мы зашли, но не для того, чтобы там «отметиться». Я решил передать (через швейцара) свою недавно вышедшую монографию московской коллеге Людмиле Сергеевне Чиколини (она была женой русского посла во Франции; итальянская фамилия осталась у нее после первого мужа). Потом, в Москве, она говорила, что могла бы помочь нам попасть в Бельгию (была у нас такая мечта — увидеть Гентский алтарь); не уверен, что это бы удалось.

Из важных событий в Париже было посещение бывшего секретаря Анри Матисса Лидии Николаевны Делекторской. Не помню, кто из Эрмитажа дал нам ее адрес, а может быть и письмо, возможно, И. С. Немилова. Л. Н. Дилекторская показала нам работы Матисса, передала нам книги для Эрмитажа.

В квартале Марэ, где в XII–XIII вв. находилось еврейское гетто, а позднее, в XVI–XVIII вв. там жила высшая французская аристократия, сохранились великолепные особняки. Мы побывали в мастерской Э. Делакруа и в Музее истории Парижа, «Карна-

вале». Особенно запомнились мне материалы времен Французской революции, «красный колпак» санкюлотов. Правда, гильотины я там не заметил.

Дошли мы до площади Бастилии. Я вспомнил рукописи Публичной библиотеки из собрания П. П. Дубровского, подобранные им вскоре после штурма. А. Д. Люблинская показывала нам лист, на котором отпечатался сапог участника тех событий.

Проходили мы мимо прежнего здания Национальной библиотеки. На ул. Ришелье поклонились памятнику Мольеру. Я всегда помнил горькие слова М. А. Булгакова, которыми он заканчивает жизнеописание Мольера: «Это он! Это он — королевский комедиант с бронзовыми бантами на башмаках И я, которому никогда не суждено его увидеть, посылаю ему свой прощальный привет!».¹

20 сентября мы отправились на Гобеленовую мануфактуру. Моя жена вела в Эрмитаже цикл экскурсий по западноевропейскому прикладному искусству и десять лет занималась ручным ткачеством. Ей было интересно увидеть работу мастеров-гобеленщиков. Мы отметили мемориальную доску, посвященную братьям Гобеленам. Во дворах — статуи Ж. Б. Кольбера, основателя мануфактуры, и Шарля Лебрена, возглавлявшего ее. В сопровождении экскурсовода мы прошли по многим помещениям, видели, как создаются современные гобелены. Работали там мужчины, за огромными станками. Здесь были исполнены знаменитые композиции создателя современного гобелена Жана Люрса и продолжалось воплощение в этом искусстве работ современных французских художников.

Нельзя было не побывать на Монмартре. На площади Тертр продавали туристам картинки, не имеющие никакого отношения к искусству. Это были отвратительные поделки («подделки»), рассчитанные на самый скверный вкус.

Дошли мы и до «Сакр-Кёр» («Храм Божьего Сердца»), типичное создание 1870-х гг. в якобы византийском стиле. Изображения внутри базилики свидетельствовали о полной деградации религиозного искусства конца XIX вв. Мы прижались спиной к этому сооружению: оттуда открывался прекрасный вид на Париж. Зато рядом была церковь Св. Петра, памятник романской архитектуры XII в., обычно не замечаемый «гостями нашего города».

Когда-то я читал подаренный мне роман бельгийского писателя (ни имени, ни названия я не удержал в памяти); его герой был экскурсоводом в Риме в первые послевоенные годы. Он отметил особый вид туристов (преимущественно американских): они почти не глядели на памятники, но очень старательно отмечали «галочкой» в путеводителях все, что экскурсоводы им предъявляли для осмотра.

Спуск к центру Парижа мы прошли пешком, через Пале Руаяль, мимо здания Комеди Франсез.

Мы пришли в книжную лавку давней приятельницы Владимира Райцеса, г-жи Франсуазы Пави, с которой он познакомился в Ленинграде. В ее доме мы увидели шпалеру «Готика», исполненную моей женой. В ней было представлено распятие Христа на фоне готических мотивов. Мы послали ее с одним нашим приятелем-французом. Шпалера привешивалась на металлических кольцах, и советские таможенники распиливали их, чтобы узнать, не сделаны ли они из золота. Г-жа Ф. Пави послала В. И. Райцесу книги.

Я позвонил директору Научно-исследовательского центра Жанны д'Арк г-же Режиин Перну. Перед этим она пригласила В. И. Райцеса на colloquium, посвященный 550-летию освобождения французами Орлеана, послала ему и личное приглашение — но из этого ничего не вышло: в Педагогическом институте им. А. И. Герцена, где ра-

¹ Булгаков М. А. Жизнь господина де Мольера. М.: Молодая гвардия, 1962. С. 224.

ботал мой друг, решительно отказались выдать ему «характеристику», без чего было невозможно оформить ни научную командировку, ни личную поездку. Я сообщил об этом Режин Перну, не скрыв от нее, что причиной был официальный антисемитизм, исходивший не столько от директора Института, сколько от высшего партийного начальства: пять лет назад в институте и в Союзе писателей рассматривалось «дело» профессора Е. Г. Эткинда, он был исключен из Союза писателей, лишен всех степеней и званий за участие в подготовке «самиздатского» собрания сочинений Иосифа Бродского, а также и за знакомство с А. И. Солженицыным.

Г-жа Режин Перну была чрезвычайно возмущена. После ее сообщения на Коллоквиуме об отсутствии на заседаниях Владимира Райцеса, ученого самого высокого уровня («*erudit de grand classe*»), которому было отказано в разрешении на поездку, собрание выразило по этому поводу протест, активно поддержанный общественными организациями и газетами.

Когда сведения об этом и газетные статьи (в том числе публикация в знаменитом «*Le Monde*») достигли Ленинграда, профессор В. И. Рутенбург сказал не без горькой иронии виновнику торжества: «Воля, вы прославились на весь мир [«*Le Monde*»].»

Парижские театры мы почти не посещали: в сентябре еще не открылся театральный сезон, да и денег не было; оставалось утешаться тем, что удалось побывать на некоторых спектаклях французских театров во время их гастролей в Ленинграде. Но при прогулке по Латинскому кварталу мы набрали на знаменитый театр «*La Huchette*», названный по имени улицы, известной с XII–XIII вв. и означающей охотничий рог. Это был небольшой зал, вмещавший не более нескольких сот зрителей. В нем на протяжении многих лет (с 1950 г.) каждый день шел один и тот же спектакль: два сочинения Эжена Ионеско, «Лысая певица» и «Урок». К нашему приезду эти две абсурдистские драмы прошли на этой сцене чуть ли не больше 8000 раз. В Ленинграде я много читал Э. Ионеско и примерно представлял себе характер его драматургии, но теперь нам довелось увидеть и услышать этот спектакль. Публика отлично понимала абсурдные ситуации пьес, невозможные повороты сюжета, бессмысленные реплики их персонажей, и с юмором, а часто и со смехом, отмечала заложенную в них (в том числе и в их лексике) насмешку над безумием современной жизни.

Чуть ли не каждый вечер мы бывали в гостях у Эдит Шеррер. У нее дома висела шпалера Розы «Св. Георгий». Мы беседовали о событиях в России, о работе, о книгах, которые она переводила. Иногда она шла с нами в ресторан, неподалеку от ее дома, всякий раз заказывая новые для нас блюда.

Эдит жила на ул. *St. Sulpice*, названной по имени находившейся неподалеку иезуитской церкви. Позднее я перечитывал «Этрусскую вазу» П. Мериме, где о главном герое Огюсте Сен-Клере говорили, «что он близок к иезуитам (...) Один знакомый клятвенно заверял меня, что он дважды видел, как он выходил из церкви Сен-Сульпис».¹

В доме Эдит, как и во многих других домах, в которых нам пришлось побывать, мы столкнулись с серьезным страхом перед нападением СССР. Они боялись не атомной войны. К этому времени были заключены соглашения, и все понимали, что ядерная война между великими державами невозможна, она приведет к гибели человечества. Правда, ядерное оружие воспевал С. В. Михалков, бывший, по анкетам, сперва сыном «дворника», потом — дворянином, а на самом деле придворным поэтом при всех режимах: в своем стихотворении, опубликованном в «Литературной газете» летом

¹ Мериме П. Избр. соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1956. С. 55.

1953 г., он писал: «Оборона — наша честь, / Дело всенародное. / Бомба атомная есть, / Есть и водородная!»

Но французы знали, что советские танки находятся в двух днях пути от границы ГДР. Кажется, именно об этом страхе, наводимом на Европу, вспоминают нынешние сторонники державной мощи. Нам все же казалось, что руководство СССР вряд ли решится на подобный шаг. К тому же, как вскоре выяснилось, его устремления были обращены к Востоку: вскоре после нашего возвращения в Ленинград началось вторжение «ограниченного контингента советских войск» в Афганистан.

23 сентября мы отправились в автобусную экскурсию по замкам Луары. Мы не заезжали в большие города, но зато нам открылся вид Франции с ее полями. Разумеется, в однодневной поездке мы не много сумели повидать, но спасибо и на этом. Нашими спутниками были парижане, учителя-пенсионеры, молодые женщины с детьми-подростками. Побывали мы в трех замечательных местах. Замок Юссе был по существу прекрасный особняк, объединивший множество причудливых зданий XV–XVII вв. Нам говорили, что там бывал Шарль Перро, и именно здесь он приютил свою «Спящую красавицу». Азэ-ле Ридо, с его готическим обликом, был окружен прекрасными прудами; внутреннее его убранство было создано в эпоху Возрождения. Но настоящим замком был Шинон. Расположенный на возвышении, окруженный стенами, он хранил воспоминания о важнейших событиях в истории средневековой Франции. Там была башня, куда заточили тамплиеров. В Шиноне состоялась встреча Жанны д'Арк с дофином, будущим королем Франции Карлом VII. После возвращения я подтвердил В. И. Райцесу правильность его предположений: зала, где дофин принимал Жанну, не могла вмещать сотни придворных.¹

Анн Мари привезла нас в дом своих родителей, в Сен-Женевьев де Буа. Был отличный обед, я первый раз попробовал «Бордо» и «Бургундское» (мы в основном пробавлялись «Божоле»). Шла добродушная и веселая беседа. Но, к несчастью, мы так и не смогли попасть на знаменитое русское кладбище: Анн Мари торопились на церковную службу.

В Париже мы с ней присутствовали на православном богослужении в соборе Александра Невского, построенном во времена императора Александра III, в характерном для того времени как бы древнерусском стиле. В храме, куда мы направились, шла служба на церковно-славянском языке. Анн Мари пошла в крипту, где служили на французском. Когда мы вышли из собора, мы оказались среди эмигрантов «первой волны» и услышали превосходную и нигда более не встречавшуюся русскую речь.

Нам не удалось попасть в Ниццу и Марсель с их музеями Пикассо и Матисса, не добрались мы и до монастыря Мон-Сен-Мишель... Чтобы узнать страну, надо прожить там многие годы. Да и в России я не побывал далее Новосибирска, не видел Байкал, один раз прошел по Крыму, не знал ни Баку, ни Среднюю Азию с Самаркандом и Бухарой...

По пригородам Парижа нас водил Жан Паскаль. Мы были в аббатстве Сен-Дени, где находятся гробницы французских королей. Перед нами предстала история средневековой Франции. Но на обратном пути случилась незадача: в кассе метро нипочем не хотели разменять стофранковую купюру, а других денег у нас не было. Жан Паскаль отправился на улицу, но и там во всех ларьках ему отказывали. В конце концов ему пришлось оплатить наш проезд. Он объяснял это тем, что Сен-Дени стал арабским кварталом, там было сильно влияние коммунистов, которые поддерживали антисемитские настроения. Мне это показалось странным, я все еще верил в интернационализм по крайней мере западно-

¹ Райцес В. И. Жанна д'Арк: Факты, легенды, вымыслы. Предисловие Ю. П. Малинина. СПб. : Евразия, 2003. С. 126–132.

европейских левых. Уже потом я узнал, что автор нашумевшей в СССР крайне либеральной и популярной среди интеллигенции книги «Реализм без берегов» коммуниста Роже Гароди (изданной «для научных библиотек», смягченной разновидности «спецхрана»), оказался яростным антисемитом; позднее он перешел в ислам.

Жан Паскаль отвез нас в Версаль. Парки и дворцы восхищали великолепием, а более всего связанными с ними воспоминаниями о французской истории XVII–XVIII вв. Для тех, кто знал разрушенные во время войны и с таким трудом восстановленные из руин ансамбли Царского Села, Петергофа, Павловска, послуживший им образцом Версаль порой удивлял какой-то запущенностью во внутреннем убранстве. Я не помню, посетили ли мы театр — а мне это было бы интересно, т. к. итальянские писатели, которых М. А. Гуковский водил по Эрмитажу, сравнивали Эрмитажный театр с Версальским отнюдь не в пользу последнего.

Не менее важным событием была наша поездка в Шартр. У меня сохранилась фотография: огромное поле и в конце — даже не город, а очертания Шартрского собора. Целый день мы обходили храм, вглядываясь в его порталы, много часов провели внутри собора, изучая его витражи, алтарные преграды, сакральную живопись и скульптуру. Я не берусь рассказывать о наших впечатлениях. У меня врезалось в память одно выступление С. С. Аверинцева с докладом на «Випперовских чтениях» в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Он начал с того, «что всякий, кто побывал в Шартре», не мог не вспомнить один из сюжетов в портале собора... Это было произнесено в аудитории, где большинство собравшихся, рядовые сотрудники музеев, библиотек, университетов и научных институтов, были хронически «невыездными». Для нынешних же читателей поездка во Францию стала пусть и незаурядным, но все же допустимым, почти нормальным событием.

Какое-то время мы уделили и старым кварталам города. Запомнились нам бретонские кружевницы, расположившиеся со своим товаром неподалеку от собора, они не только торговали, но и продолжали вязать кружева.

Анн Мари сразу же по приезде договорилась со своим знакомым, который уступил нам комнатку в мансарде. Это был крупный юрист, связанный со многими политическими деятелями тогдашней Франции. Жан Паскаль был с ним знаком. 16 сентября мы проводили Анн Мари, возвращавшуюся в Лион, и с Жаном Паскалем отправились на такси в гости к Жану Пьеру, жившему в пригороде Парижа. Подъезжаем к воротам, звоним, открывает хозяин.

Перед нами большая вилла, с прекрасным садом, горшки с цветами и розовые кусты. За домом бассейн. Мне показалось, что вода в нем голубая, но это дно было вымощено голубыми плитками. Мы застали подругу Жана Пьера с маленьким сыном, по имени Лансело. По вошедшему тогда в моду обычаю (проникшему и в Россию) малыш едва только учился ходить, но превосходно плавал. Вечером они уехали в Париж.

Жану Пьеру 33 года, он занимался экономическими проблемами развития стран Латинской Америки. В доме была и его собственная живопись (с некоторыми его работами мы познакомились еще в нашей мансарде), и мастерская, и собранные им по всему миру коллекции восточного, южно-американского и африканского искусства.

Пока мы смотрели коллекции и живопись, появился Франсуа Шапюи. Сперва он производил впечатления то ли клошара, то ли представителя парижской богемы. Он и был художником. В это время Франсуа Шапюи исполнял большой государственный заказ. Что-то близкое и родственное чувствовалось в его интонации, в его глазах, с их печально-ироническим выражением. Друзья дразнили его «sacre sake» («проклятое sake»), из-за его бывшего пристрастия к спиртному. Теперь он пьет только воду.

Вместе с ним появился американский музыковед Тэдди, знаток современной неофициальной русской музыки. Он был членом Общества Иисуса; это был первый (и последний) встреченный мной в жизни иезуит. Он говорил о музыке и был в ней глубоким знатоком. Переводчиков не было (обычно при наших разговорах с французами бывала Ася Соломонова или Гилен и Анн Мари, они помогали мне в трудных случаях), так что мне приходилось самому обсуждать и серьезные проблемы и шутки — мне показалось, что этот экзамен я выдержал.

Вскоре приступили к ужину. Жан Пьер принес блюдо с креветками и показал, как с ними надо управляться. За это время хозяин успел приготовить курицу с соусом.

За ужином и разговором проходит вечер. Пора собираться в Париж. В машину Жана Пьера помещаемся вшестером. Франсуа Шапюи собирается пригласить нас в свою мастерскую, предполагает повидать нас и Жан Пьер — но эти встречи так и не состоятся: времени осталось мало. Жан Пьер вскоре улетел в Бразилию.

Очень важным для нас было посещение Отеля Бирон — Музея Огюста Родена. В саду нас встречали «Граждане Кале», «Бронзовый век», «Мыслитель», а в экспозиции дома — множество его произведений, варианты и подготовительные материалы.

Неподалеку от нас находился и Дом Инвалидов. Елена Викторовна Бернадская попросила купить открытки из дома последнего упокоения Наполеона; одну из таких открыток я собирался купить и для И. Х. Черняка. Еще в детстве я знал наизусть стихотворение М. Ю. Лермонтова «Последнее новоселье», посвященное переносу праха Наполеона в Париж. В дальнейшем мой наивный бонапартизм улетучился, отчасти под влиянием образа императора в «Войне и мире» Л. Н. Толстого. В огромном помещении находилась гробница, сделанная из карельского мрамора. Николай I не пожалел его, может быть, в ознаменование победы русских войск в Отечественной войне. На стенах подкупольного зала Дома Инвалидов приводились многочисленные цитаты из Наполеона (отчасти почти совпадавшие с аналогичными высказываниями, приведенными в «Войне и мире»). Между тем, для меня главным его деянием, заслуживающим уважения, явился «Кодекс Наполеона», закрепивший принципы, которые легли в основание правовых отношений буржуазной Европы. Когда я подошел к киоску, где продавались открытки, и попросил несколько приглянувшихся мне экземпляров, продавщица, видимо, плохо понявшая мой французский язык и принявшая меня за немца, ответила мне: «Фюнф!» и протянула кисть руки с оттопыренными пальцами. Позднее мои французские друзья объяснили, что рука с оттопыренными пальцами есть жест крайне неприличный; обычно в таких случаях показывают руку с тыльной стороны. В это время во Францию зачастили немецкие туристы, и она не могла не выразить свое отношение к «бошам», припомнив немецкую оккупацию Парижа.

Посетили мы и Пантеон. Гид произнес там знаменитую фразу о том, «что враги при жизни, Вольтер и Руссо нашли здесь свое последнее упокоение». Но поклониться было почти некому: кроме нескольких надгробий писателей и ученых, там оказалось множество могил никому ныне неведомых министров, чиновников и парламентариев; говорили, что место в Пантеоне можно было купить.

В церкви Сент-Етьен-дю-Мон мы узнали, что туда в 1711 г. из кладбища церкви Пале-Руаяль де Шамп был перенесен прах Блеза Паскаля (мои друзья подарили мне его «Письма к провинциалу»; до его «Мыслей» я тогда, кажется, еще не добрался) и Жана Расина, которого я к тому времени постоянно перечитывал в изданиях XVIII в.; позднее муж Анны Миссен (бывшей жены Жан Марка Бордье) прислал мне в Бостон его новейшее критическое издание). Признаюсь, что Расин остался моим самым любимым классическим драматургом, оставив в тени Пьера Корнеля.

Вскоре после нашего возвращения в Париж туда вернулась и Эв Мальрэ из своей поездки в Среднюю Азию; тогда же завершила свое путешествие по Франции и Ася Соломонова, они пригласили и Ива с Игнасио. Кажется, это был наш последний французский визит.

Не помню, где, но, вероятно, во время нашей поездки по югу Франции мы оказались на выставке, организованной Amnesty International; там собирали подписи в защиту советских диссидентов. Эта единственная до времен «перестройки» поездка за границу была событием чрезвычайно важным. Я знал об экскурсиях, которые устраивал для своих студентов Университета и Высших женских курсов в 1910-х гг. профессор И. М. Гревс. В кабинете Средних веков сохранился альбом литографий с видами Флоренции, подаренный ему участниками одной из таких поездок.

При всей непродолжительности нашего пребывания во Франции мы почувствовали историю страны от античности, Средневековья и Возрождения вплоть до революции XVIII в., соприкоснулись с памятниками архитектуры и искусства, с музеями, а главное — сумели почувствовать саму страну, ее людей, язык, понять, как живет историческая память народа в жизни современной Франции.

В своих воспоминаниях о поездке во Францию в 1979 г. я имел возможность восстановить ход нашего путешествия в значительной мере благодаря сохранившимся фотографиям, на обороте которых моя жена тщательно отмечала точные даты нашего пребывания во Франции, а также благодаря ее записям, которые она вела как во Франции, так и после возвращения в Ленинград.

Много позднее я познакомился с автобиографической прозой А. И. Хоментовской («Пройденный путь»): «Ни с чем несравним был, однако, общий импульс от знакомства со страной, пейзажем, памятниками, людьми и следами исторической традиции на каждом шагу. По книгам и снимкам прошлое изучается и постигается аналитически. По камешкам, участками. Пейзаж и гениальные памятники зодчества, как собор Notre Dame de Paris, дают интуитивное и мгновенное целостное познание».¹

Ко времени нашего возвращения в Ленинград в Париж приехали Гилен и Анн Мари. Они подарили нам несколько книг, в основном «тамиздатовские» книги Марины Цветаевой и Ариадны Сергеевны Эфрон, выпущенные Гилен. Сестра Анн Мари подарила нам каталог выставки «Москва-Париж». От кого-то мы получили московское издание романов М. А. Булгакова, которое в Ленинграде было не достать. От двух томов выходявшего в это время в Брюсселе издания сочинений поэта Вячеслава Ивановича Иванова я отказался, полагая, что их не пропустят на советской таможне, что было бы вполне вероятно. Впрочем, произведения этого поэта-символиста оказались вне круга моих литературных интересов: сколько я его ни читал, я не мог почувствовать его «своим».

Таможенные чиновники проверяли нас очень тщательно. Но книги Марины Цветаевой и Ариадны Эфрон они пропустили, не очень разобрав, что это за издательство «Лев». Начальник таможни, полковник, обнаружил у меня купленную в Париже пишущую машинку с латинским шрифтом и заявил, что по приезде я должен буду ее учесть «где положено».

К сведению современных читателей: когда я купил себе первую машинку в 1954 г. (немецкий «Триумф» с русским шрифтом), я обязан был ее зарегистрировать, отпечатав две страницы, чтобы могли определить текст, на ней напечатанный. Этот «порядок», как помнится, был упразднен в начале 1960-х гг.

¹ Хоментовская А. И. Итальянская гуманистическая эпитафия: Ее судьба и проблематика. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1995. С. 239.

В Ленинград мы прибыли с опозданием на один день (мой отпуск составлял четыре недели). В библиотеке одна из сотрудниц сказала не без разочарования: «А я думала, вы там останетесь!» Таких мыслей у нас не было: кому мы были там нужны; к тому же в Ленинграде у нас оставалась дочь студентка.

Оказалось, что мой приход в библиотеку совпал с днем рождения (кажется, даже с юбилеем) директора библиотеки К. М. Романовской и я был приглашен к ней домой. До этого я был единственным из заведующих отделом, кто ни на каких ее домашних приемах не бывал.

Я что-то рассказывал гостям о своих впечатлениях. Когда, в ответ на вопрос одной из слушательниц, я сообщил, что в магазинах по всей Франции от Парижа до сельской лавочки полно продуктов, она откликнулась: «Ну да, народа там мало, и правительство может их обеспечить». Эта фраза мне запомнилась: советские люди были уверены, что только власть от своих щедрот может прокормить население.

Сразу после возвращения в Ленинград я позвонил Владимиру Райцесу. Не помню, о чем был разговор, вероятно, о моем звонке Режию Перну. Я говорил по-французски. Мой друг не преминул заметить, что мое пребывание во Франции не пошло на пользу моему французскому. Думаю, что он был несомненно прав, но подозреваю, что эта фраза была им подготовлена заранее.

При первой же встрече в кофейной, где сотрудники библиотеки встречались с друзьями из Библиотеки Академии наук и Пушкинского Дома, один из моих коллег воскликнул: «Барин! Из Парижу!». Я не мог решить, откуда он взял эту «знаменитую» фразу; нечто подобное я мог найти лишь в реплике Фирса из «Вишневого сада» А. П. Чехова, но оказалось, как мне сообщил И. Х. Черняк, она была заимствована из «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. Впрочем, И. Ильф прекрасно знал А. П. Чехова и мог воспользоваться сходным мотивом. Я думаю, что в серии гобеленов в Музее Клюни «Барская жизнь» не хватало именно этого сюжета. Во всяком случае такая оценка как нельзя более подходила к ситуации: наша поездка во Францию являлась событием вполне «барской» жизни.

Мой друг Юрий Васильевич Егоров рассказывал мне, как проходят заседания «выездной» комиссии при Горкоме КПСС: достаточно кому-либо из присутствующих заметить, подняв брови: «Горфункель?», как мое дело будет снято с обсуждения. В 1979 г. такого не нашлось. Зато в 1986 г., уже в разгар перестройки, мне было отказано в поездке в Италию без объяснения причин. Но об этом — потом.

Дальнейшие мои служебные занятия, с весны 1984 г. до весны 1993 г., проходили в Публичной библиотеке.